Курсив мой

Автор:
Нина Берберова

Курсив мой

Нина Николаевна Берберова

Чужестранцы

“Курсив мой” – самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901–1993), сразу ставшая мировым бестселлером и сохранившая эти позиции сегодня. Яркая, независимая, провокативная, глубоко личная – эта автобиография вызвала бурю нареканий со стороны ее “героев” и осталась уникальным свидетельством жизни первой русской эмиграции. Портреты И. Бунина, В. Ходасевича, М. Горького, А. Белого, М. Цветаевой, З. Гиппиус, Г. Иванова, В. Набокова написаны абсолютно свободным человеком – без оглядки, без страха, то хлестко и иронично, то трепетно и нежно…

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Нина Берберова

Курсив мой

© C’est moi qui souligne, Nina Berberova Actes Sud, 1989

© Кузнецова А.А., предисловие

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

* * *

Её “Курсив…”

Не так уж часто случается, что год рождения человека совпадает с началом века, а доживает он до его конца. Особенно если это век катастроф.

Родившись в 1901 году, Нина Николаевна Берберова прожила 92 года. Из России Серебряного века, вдруг ставшей полигоном большевистского эксперимента, бежав в постницшеанскую Европу, а из Европы, опустошенной нацизмом, – в феминистскую Америку, она видела мир с разных точек пространства и времени и всю жизнь напряженно размышляла над тем, что ей открывалось. Размышляла и записывала.

Зарабатывая на жизнь литературным трудом, эта умная, красивая, талантливая женщина до блеска отточила стиль, но ее художественную прозу и беллетризованные биографии затмила автобиографическая книга “Курсив мой”. Вышедшая в 1969 году, эта книга стала одной из самых читаемых во Франции и вызвала шквал возмущения и протестов в кругу современников-эмигрантов – ее второстепенных героев. Они отказывались узнавать в ней себя и имели на это полное право.

Впрочем, “Курсив…” был не первой такой книгой. И не последней. Первой подобной мемуарной книгой стали “Петербургские зимы” Георгия Иванова. А после “Курсива…” Василий Яновский написал свои скандальные “Поля Елисейские”. Можно сказать, что в зарубежной русской литературе XX века сложилась традиция писательских “квазимемуаров”, в которых законы литературы взяли верх над требованием исторической достоверности. Век катастроф сметал традиции, и здесь у писателей были свои основания обращаться с жанром именно так.

Классическим для мемуаров был XIX век. Отношение к современности как к истории привело к появлению большого количества мемуарных текстов,

сложилась традиция их публикации в специальных журналах – “Русский архив”, “Русская старина”, “Исторический вестник”.

Вовлечение многих образованных людей в события 1812 года дало ряд мемуаров, написанных хорошим литературным языком, и они стали публиковаться в литературно-художественных журналах. От романа – основного прозаического жанра в XIX веке – мемуары писателей переняли главное качество: факты в них стали подбираться и компоноваться под сильным воздействием художественного начала.

Художественная литература со своей стороны тоже тянулась к истории, переживая усталость от романтического вымысла: с конца тридцатых годов XIX века к художественной прозе стало предъявляться требование правдивого воспроизведения действительности. И документалистика втянулась в литературное пространство. Так человеческий документ вплотную приблизился к границе истории с литературой, переходить которую пока не собирался. Парадоксальное сочетание достоверности и субъективности стало спецификой мемуарного жанра.

Для мемуарных текстов XX века 1917 год так же важен, как 1812-й – для века XIX: множатся воспоминания о погибших и умерших людях и о разрушенном укладе жизни. После октябрьской катастрофы русская литература разбилась на два потока: советскую и эмигрантскую, и мемуары в них приобрели разные черты. В советской литературе с 30-х годов XX века установился “неожитийный” биографический канон: мемуары должны были отражать героический путь строителя социализма, показывая читателю примеры для подражания – как жития святых в средневековой литературе. Мемуары, создаваемые с иными установками, оставались в рукописях и тщательно скрывались.

А на мемуаристику русского зарубежья активно влияла неклассическая философия – европейская постницшеанская мысль. Период между двух войн в Европе стал временем становления философии экзистенциализма. Французские мыслители – будущие экзистенциалисты, персоналисты и т. п. – тесно общались с парижской эмиграцией и сами признавали большое влияние на них Н. Бердяева, Н. Лосского и других пассажиров печально знаменитого “философского парохода”.

На поэтику “Курсива…” Нины Берберовой больше всего повлияли два мемуарно-автобиографических произведения: классическое – “Былое и думы” А.И. Герцена,

написанное по романному канону, – и неклассическое, образец “мутации жанра”, произошедшей в XX веке, – “Петербургские зимы” Георгия Иванова, в предисловии к первому российскому изданию которых Н. Богомолов определяет их природу как абсолютно литературную. После издания “Петербургских зим” ряд писательских мемуаров, созданных в эмиграции в XX веке, почти полностью уходит в литературное пространство.

Писательская эмиграция, историю которой можно вести от Овидия, в XX веке также получает новое качество. Конфликты с властью, заставлявшие писателей покидать свои страны, случались в разные эпохи. Новое в XX веке – масштаб явления. Массовая эмиграция коснулась всех европейских стран и задела Америку, страну эмигрантов, ставшую окончательным прибежищем для многих беженцев. Небывалое количество культурных людей за границей нуждалось в создании эмигрантских культур за пределами национальных, и они появились. Это отличие ситуации от сходных явлений предшествующих эпох точно подмечено исследователем литературного быта русской эмиграции О. Демидовой: “Для Овидия, Данте или Гейне экспатриация была личным событием”.

История русской эмиграции после 1917 года насчитывает несколько волн, а одной из главных проблем первой волны, самой многочисленной, стало эстетическое размежевание поколений. Молодые люди и подростки, уехавшие из России в тот возрастной период, когда еще не успели укорениться в родной культуре, но уже не могли ассимилироваться в чужой (исключение – В. Набоков), стали предметом горьких размышлений поколения “отцов”. Знаменитый спор о возможности творчества и преемственности литературных поколений в эмиграции разошелся по двум основным направлениям мысли: одни считали, что литература возможна только в родной языковой среде, поэтому эмигрантской литературы как самостоятельного явления быть не может; другие – что литература возможна только в условиях творческой свободы, поэтому только в эмиграции русская литература может и должна сохраниться.

Особой позиции придерживался представитель “поколения детей”, или “незамеченного поколения”, как с подачи В. Варшавского стали называть младшее поколение первой волны русской литературной эмиграции, Гайто Газданов. Говоря от имени всех своих сверстников, он утверждал, что спор основан на представлениях, не соответствующих современной реальности. Он считал существование молодой эмигрантской литературы в новоевропейских исторических условиях невозможным, но только потому, что творчество – это

утверждение, а человеку без родины и без будущего утверждать нечего.

Действительно, младшее поколение первой волны эмиграции принесло русской литературе немногих оригинальных творцов – за последнее время сложилась традиция считать писателями первого ряда, кроме безусловно признанного В. Набокова, только Г. Газданова и Б. Поплавского. Но именно это поколение дало развитие новой мемуарной прозе.

Когда классические жанры, а роман особенно, переживали упадок и кризис, мемуарная проза дала неожиданно яркие образцы в творчестве Ирины Одоевцевой, условно относимой к “незамеченному поколению”, хотя она имела успешный литературный дебют в России; Романа Гуля, Зинаиды Шаховской, Василия Яновского; но прежде всего, конечно, Нины Берберовой.

Родилась Нина Николаевна Берберова (1901–1993) в Санкт-Петербурге в семье чиновника по особым поручениям при министре финансов и дочери тверского помещика. В начале двадцатых годов она участвовала в литературной жизни Петербурга, в 1922 году состоялась ее первая публикация – стихотворение в альманахе “Ушкуйники”. В том же году со своим гражданским мужем Владиславом Ходасевичем Берберова уехала в Берлин, до апреля 1925 года они жили в Саарове, Мариенбаде и в Сорренто у М. Горького. Первые эмигрантские публикации Берберовой также были стихотворными: в 1922 году в берлинской газете “Голос России” и в 1923 году в берлинском журнале “Беседа”.

В 1925 году начался парижский период эмиграции Берберовой: в течение пятнадцати лет она сотрудничала в газете “Последние новости”. За это время был написан цикл рассказов, частью опубликованных в журнале “Современные записки”, изданы книгами три романа: “Последние и первые” (Париж, 1931), “Повелительница” (Париж, 1932), “Без заката” (Париж, 1938) – и две беллетризованные биографии: “Чайковский” (Берлин, 1936), “Бородин” (Берлин, 1938). Многое созданное Берберовой за эти годы осталось в периодике: стихи, рассказы, критические заметки и эссе. В 1932 году она оставила Ходасевича и вскоре вышла замуж за Николая Макеева, с которым развелась в 1947 году. Во время Второй мировой войны Берберова оставалась в оккупированной Франции (позднее ее обвиняли в коллаборационизме). После войны она была постоянным сотрудником парижского еженедельника “Русская мысль”.

В 1950 году в американском “Новом журнале” Нина Берберова опубликовала четвертый роман “Мыс бурь” и в том же году переехала в США. Она восемь лет

прожила в Нью-Йорке, работая в архиве. В 1954 году вышла замуж за пианиста Георгия Кочевицкого, в 1958-м развелась с ним. С 1958 года Берберова становится университетским преподавателем: в 1958–1963 годах преподает в Йельском университете, с 1963-го – в Принстонском. В 1958–1963 годах она входит в редакцию мюнхенского альманаха “Мосты”.

В 1969 году в авторизованном переводе Филиппа Рэдли на английский язык в американском издательстве “Harcourt, Brace & World, Inc.” впервые была издана художественная автобиография Нины Берберовой “The Italics Аге Mine”. На русском языке она впервые вышла в Мюнхене в 1972 году с исправлениями, затем в Нью-Йорке в 1983 году с дополнениями. Нью-Йоркское издание было переиздано в Москве в 1996 и 2001 годах.

Первые издания “Курсива…” вызвали в эмигрантской среде скандал, поскольку современники естественно восприняли книгу Берберовой как человеческий документ и ожидали от нее правдивого отображения действительности. О написанном говорили как о “сплетнях и сведении счетов с неугодными автору лицами, причем автор не стесняется никаких вымыслов”. Многие отмечали “неисчислимое количество фактических ошибок, обнаруживающих, что автор писал свои «мемуары» с исключительной отвагой, с совершенным какпопальством, путая имена, даты, факты”. Роман Гуль, с которым у Берберовой до выхода книги были очень приязненные, даже дружеские отношения, написал на “Курсив…” самую, пожалуй, резкую рецензию. Кроме восстановления ряда попранных фактов, в рецензии была масса “натяжек” и “передергиваний”. Книгу он называл скучнейшей, заявив, что читательского успеха она не имела и после нескольких отрицательных рецензий “утонула в бездне неудачных книг”.

То, что мемуары превратились в художественное произведение, где по литературным законам существуют реальные люди под собственными именами, не осознавалось ни после “Петербургских зим”, ни после “Курсива…”, ни после “Полей Елисейских”. Скорее всего, действующие лица подобных произведений никогда не согласятся признать их как самостоятельный жанр. Ведь запретил же Ходасевич Ремизову видеть себя во сне, после того как тот записал ряд снов с его участием. А тут в основе литературного жанра – даже не сны, а воспоминания о реальных событиях. И вдруг – на похоронах Ходасевича, описанных Берберовой, развернулась картина: литературная эмиграция бойкотирует Цветаеву, когда в действительности Цветаева уже четыре дня как уехала из Парижа. Вдруг сама Берберова присутствует на похоронах Замятина,

при том что на самом деле ее там не было. А. Гучков оказывается в “Курсиве…” масоном; И. Фондаминский участвует в белом терроре, граф В. Зубов посажен в советскую тюрьму на многие годы… Все это можно оправдать, только если определить природу этого произведения как абсолютно литературную, вслед за Н. Богомоловым, охарактеризовавшим так книгу Георгия Иванова. И судить квазимемуары по законам художественного мира, тем более что привычные законы мира реального самой реальностью XX века были поставлены под сомнение – историческая действительность века катастроф такова, что единственной константой в ней стал сам человек. В “Курсиве…” есть такое размышление: “В мире остался только человек – описания природы, в которой он живет, прогулки в его семейные дела, производственные отношения имеют второстепенный интерес. Только он сам важен в своей современности, а все остальное есть двухмерное прошлое, в котором действовали слабые в функциональном смысле законы. Для всей великой старой литературы – кроме нескольких исключений, к которым принадлежат греческие трагики, Шекспир и Сервантес, – я должна делать усилие исторического воображения и это усилие затем удерживать; и только новая литература, как воздух, входит в меня. Новый человек, живущий в условиях новой технологии, есть прежде всего – новая идея о человеке <…>”.

Р. Гуль оценивает “Курсив…” по классическим мемуарным канонам и возмущенно замечает: “…у Берберовой всегда выходит: Она и Горький, Она и Бунин, Она и Керенский, Она и Белый”. Однако в основе автобиографии Нины Берберовой – не информация об исторической действительности, как предполагает жанровое задание классических мемуаров. “Курсив…” сознательно подчинен идее, что человек – единственная несомненная реальность, а мир существует только как свидетельства о нем людей, поэтому второстепенен и необязательно достоверен.

Даже в названия глав “Курсива…” вынесены образы, которые сама писательница охарактеризовала как “систему личных символов”, последовательно сменяющих и отменяющих друг друга. Они говорят о том, что в основе книги – субъективная история: история развития и становления личности.

“Гнездо и муравьиная куча” – образы человеческих сообществ, в которых проходило ее детство. Образы эти противопоставлены: “гнездо”, образ семьи, – олицетворение рутинной “биологической обязанности” быть вместе; “муравьиная куча” – образ творческого сосуществования людей; для обозначения такого сообщества Герцен ввел термин “сопластники”.

Человеческий “пласт” в определенном историческом слое может включать несколько поколений, объединенных одной исторической судьбой.

“Бедный Лазарь” – образ юности автора, прошедшей в революционной России. Елеазар из притчи Иисуса в Евангелии от Луки – прокаженный бедняк, который вознаграждается в потустороннем мире, тогда как его богатый антипод, в том мире наказанный, не может даже принять от пожалевшего его Лазаря помощи, поскольку между бедными и богатыми “утверждена великая пропасть”.

“Товий и Ангел” – образ жизни вдвоем, жизни в пути, при которой один в паре – ведущий (Ангел), другой – ведомый (Товий). Апокриф, ставший сюжетом многих возрожденческих полотен и давший жизнь личному мифу Берберовой, пересказан и толкован ею в главе о жизни с В. Ходасевичем в довоенном Париже.

“Соль земли” – глава о парижской эмиграции, новой среде, в которой общность людей возникла благодаря их сознательному усилию и творческой энергии.

Главы “Гордые фигуры на носу кораблей” и “Черная тетрадь” (дневник 1939–1950 годов) рассказывают о жизни во Франции. События: расставание с Ходасевичем, женитьба и смерть Ходасевича, Вторая мировая война, гибель вдовы Ходасевича, замужество Берберовой и развод – здесь изъяты из хронологической последовательности и перепутаны во времени потоком размышлений и риторических отступлений.

Глава “Не ожидая Годо” – о созревании решения уехать в Америку, об отъезде и новой жизни среди новых “сопластников”.

Внутренний мир людей важнее и достовернее внешнего – утверждает Берберова всей своей книгой, на что Р. Гуль возражает с противоположных позиций: “Свой «внутренний мир» Б-ва выдумывает с великой натугой и настолько претенциозно, что читатель сразу же видит все его «белые нитки». Подражая «Словам» Сартра, что ли, госпожа Б. пишет о себе роскошные необыкновенности”. “Необыкновенности” эти, однако, преследуют определенную цель.

Например, Берберова пишет, что о своем буржуазном происхождении узнала уже взрослой и не чувствует никакой связи с сословием – главным образом

потому, что всю ее жизнь все ее окружение составляли такие же деклассированные изгнанники, как она. “Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания (тяжелая задача, которой занимаются вот уже пятьдесят лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр) мне было не нужно: я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было и никто всерьез не держался за старые принципы – во всяком случае в той среде, в которой я росла”. Для нее это важный момент в поставленной себе задаче стать “новым человеком”. Вот комментарий Л.Я. Гинзбург к аналогичному месту “Исповеди” Ж.-Ж. Руссо: “И весь этот многогранный комплекс новых установок в сферах политической, социальной, морально-психологической, эстетической Руссо осуществляет, создавая модель нового человека. Это человек, вышедший из третьего сословия, свободный в своем самосознании от типологических схем старого общества, интеллектуальный плебей, заявляющий о своей уникальности” (“О психологической прозе”).

То, что “сопластники” Берберовой, воспитанные в традиции, принимали как беду и ущерб, героиня “Курсива…” и подобные ей “новые люди” трактуют оптимистически: “На стыке старого и нового – умирания одной эпохи и рождения другой, которое продолжается уже лет пятьдесят, – мы сливаем обе, и в некотором смысле даже чувствуем себя привилегированным сословием благодаря тому, что одинаково вольно дышим и в старом, и в новом, то есть способны к такому дыханию. В плане природном мы суть некие феномены этой гармонии”.

Вот почему в творчестве этих “новых людей” расцвел именно мемуарно-биографический жанр. Нет родины, нет будущего, нечего утверждать? Как бы не так – отвечают они. Родина – весь мир. А будущее творим мы сами каждую минуту.

И вот почему мемуары превратились в квазимемуары: свободной волей нового человека травмирующие события поворачиваются в его сознании так, чтобы стать плодотворными для внутренней жизни. Но для обретения столь сильной творческой воли нужно освободиться от традиций и условностей. Берберова не устает благодарить своих учителей и “освободителей”, авторов новой идеи о человеке.

Книги Ницше здесь – среди первоисточников: “Я смиренно собирала крохи: <…> Достоевский, Ницше, Шестов, кем-то брошенное слово (и мною подобранное),

и копила их, и хранила их, и думала, и думала, и думала над ними”; “Заратустру я читала, гуляя по улицам”; “Я люблю трудную жизнь. Пришло, несомненно, в юности из Ницше. Засело. На всю жизнь”.

Ницшеанский сюжет в “Курсиве…” начинается с обрисовки событий, показывающих, что имморализм и атеизм были героине изначально, имманентно присущи. Вот маленький сверхчеловек, подсмотревший прием у доктора: “Меня наказали очень строго, объяснили, что визит к доктору есть секрет, охраняемый законом, и что я совершила преступление, за которое сажают в тюрьму. И мне вдруг страстно захотелось сесть в тюрьму, чтобы сейчас же убежать из нее на волю, доказав и себе, и другим, что я могу быть слепой, безрукой, безногой и преступной и все-таки жить, жить, жить!” А вот юный сверхчеловек, принимающий благословение католикоса: “Видя, что никто из детей не двигается, а только таращит глаза и переступает с ноги на ногу, и решив, что католикосу сидеть и ждать скучно, я, нисколько не чувствуя значительности минуты (и, как обычно, боясь потерять драгоценное время), пошла первая, подошла к нему и довольно развязно протянула ему руку для рукопожатия”. А вот уже зрелый сверхчеловек, полемизирующий с Библией, как ницшеанский Заратустра: “И я часто мысленно говорю людям: – Дайте мне камень. А уж я сама сумею сделать из него хлеб. Не беспокойтесь обо мне. Я хлеба не прошу. Только протяните мне вон тот булыжник, уж я знаю, что мне с ним делать”.

Жизнь героиня “Курсива…” понимает и принимает всецело в соответствии с идеями Ницше – как трагедию, глубокую и жестокую. В приятии всякой данности она проявляет ницшеанскую же волю к трагедии: “Одно убеждение постоянно жило и живет во мне, что мой век (с которым вместе я родилась и вместе старею) – единственный для меня возможный век. Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла я быть счастливее? В XIX веке, среди пушкинских Нанетт и Зизи? Среди герценовских Наталий (или их воспитанниц)? Среди дочек и маменек нарождающейся буржуазии? Или ученых поборниц женского движения? Или, может быть, в XVIII столетии? Или еще раньше, когда по всей Руси спали, ели и молились, молились, ели и спали молодые и старые? Я пришла на готовое. Вокруг меня лежат сокровища – только успевай их хватать. <…> Я живу в невероятной, в неописуемой роскоши вопросов и ответов моего времени, которые мне близки и которые я ощущаю как свои собственные, в полной свободе делать свой выбор: любить то и тех, кого мне хочется. Я нахожусь в центре тысячи возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду – ужасы и бедствия моего века

помогли мне: революция освободила меня, изгнание – закалило, война протолкнула в иное измерение”.

“Роскошные необыкновенности”? Конечно. Изрядный литературный дар здесь налицо – Гуль обозвал произведение Берберовой “бездарным”, но это, мягко говоря, неправда. В то же время все эти “роскошества” – лишь малая часть очень серьезных раздумий о месте человека в мире, которыми проникнута вся книга. Вот еще одна краска, показывающая глубину и детальность раздумий Берберовой о человеке, – запись в “Черной тетради” от декабря 1942 года: “Герой нашего времени. Я знала С. еще в России. С тринадцати лет он жил с горничными (в доме родителей). Два раза выгнали из гимназии.
В восемнадцать лет пошел к Шкуро и кого-то резал. Затем – Берлин. Посадили в тюрьму за подделку чека. А потом случилось вот что: в Берлине было совершено политическое убийство, был убит турецкий министр, виновный в резне армян, Талаат-паша; жена убитого, среди тридцати двух представленных ей фотографий «студентов», опознала С. как убийцу мужа. Его посадили. Он же в этот вечер привел проститутку с угла Курфюрстендамма в квартиру, где жил с папашей и мамашей, которые в этот вечер были в опере. Таким образом, у него было алиби, и все вместе свидетельствовали: папа, мама, уличная девица (в которой было все его спасение), привратник дома, любовник девицы, который ждал его на углу. С. выпустили. Он женился на девочке, которой было девятнадцать лет. В ночь свадьбы он исчез и три дня пропадал – где-то кутил с женщинами. А она сидела одна и плакала. Шесть лет он жил на ее средства, и наконец, после того как он едва не изнасиловал ее сестру (пятнадцати лет), она ушла от него. Он шатался где-то, потом поступил в Иностранный легион и уехал в Африку (была война французов с Абдаль-Керимом). В Африке он опять кого-то резал, вернулся через пять лет. Когда я встретила его в Париже и спросила, где его медали и кресты и в каком он чине, он сказал, что не смог пройти в офицеры, не способен был выдержать экзамен. Тут подвернулось ему место: стюардом на пароходе, возившем из Германии в Аргентину евреев, уезжавших от Гитлера. Из Аргентины в Германию он возил контрабанду. Сделал много рейсов, сам был «маленьким Гитлером» (по его словам) на этом пароходе. Затем он куда-то исчез. С. умел скрывать свое прошлое, говорил на четырех языках, когда-то провел год или два в Кембридже, в университете (из которого, кажется, тоже был выгнан). У него были светские манеры, и он был довольно хорош собой. Умел обращаться с женщинами, которые сходили по нем с ума. И вот теперь он в немецкой форме, сражается на восточном фронте, вернее – служит переводчиком у немцев в России. Сейчас вернулся в отпуск из-под Смоленска. Говорит, что все бежали из Смоленска, и когда они вошли, оставался только школьный учитель с женой и дочерью.

С женой, видимо, он жил, а самого учителя они заставили быть чем-то вроде промежуточной инстанции между немецкой комендатурой и русским населением. Приехав в отпуск, он добился встречи со мной, вынул из кармана небольшой пакет. «Это – подарок с дорогой родины», – сказал он. Там было два предмета: от руки переписанная порнографическая поэма, безграмотная и грубая, и медная икона”.

Эта оттеняющая краска несет вроде бы все компоненты характера “нового человека”: имморализм, красота, здоровье, сила, интеллект. Пародией делает “героя времени” масштаб личности: мелкость натуры, ее вопиющее безвкусие, при котором революционный имморализм превращается в подлость, ум – в хитрость, сила – в приспособляемость. В книге есть место, где Берберова прямо высказывается против вырождения великих идей – в размышлении, где она осуждает Сартра за все, написанное после “Тошноты”, и за личную непоследовательность, несоответствие собственной философии “ответственного действия”: “Да, живя в абсурдном мире, признаем, что правды нет, но ведь есть направления правды, и если этого не учитывать, то всякая философия станет двусмысленной”.

Была ли ее заявка на роль “нового человека” игровым эпатажем, как полагает О. Демидова: “Примерами эпатажа можно считать мемуары Бунина, Яновского, отчасти Гуля и Берберовой, авторы этих текстов надевают маску, которая заведомо не понравится аудитории, и не расстаются с нею до конца повествования, намеренно – и весьма успешно – провоцируя тем самым читателя”; а постоянное искажение фактов – простым сведением счетов с обижавшими ее людьми, как утверждает Р. Гуль?

Или тот факт, что состоятельная престарелая американка, которой давно нечего делить с состарившимися или умершими современниками, подтверждает и утверждает свою “маску” как жизнь в соответствии с идеалом, – доказывает серьезность ее намерений и правдивость позиции?

В “Предисловии ко второму изданию”, написанном Ниной Берберовой в 1983 году в возрасте восьмидесяти двух лет (ей предстояло прожить еще десять), она подытожила свой жизненный путь: “Мне давно стало ясно, что жить, и особенно умирать, легче, когда видишь жизнь как целое, с ее началом, серединой и концом. У меня были мифы, но никогда не было мифологии. Говорю это по праву долголетия”.

Анна Кузнецова

Предисловие ко второму изданию

Прошло десять лет со времени первого издания этой книги, и настало время выпустить второе – исправленное и дополненное. Исправления касались опечаток набора (около 25 на 708 страницах) и моих ошибок и неточностей (около 15). Дополнения относились главным образом к письмам, полученным мною по поводу “Курсива” (см. с. 599–604) и сорока пяти смертей из тех, кто упомянут в Биографическом справочнике. Сорок пять человек, о которых было рассказано в этой книге, умерли за десять лет. Если принять во внимание, что в Биографическом справочнике около 300 имен, а по Алфавитному указателю в книге их 800, то можно сказать с известной долей вероятности, что за этот срок из тех, кого я лично знала, умерли не менее ста человек. Годы их смерти теперь проставлены там, где было мною поставлено в свое время тире.

Это только один из примеров, говорящих нам о том, как изменился мир вокруг нас, мир западный, как и мир советский, российский. И как в связи с этим, параллельно с этим и неразрывно с этим изменились мы сами. Скажу о себе (потому что эта книга вся “о себе”): я вижу изменения на трех уровнях – внешнем, внутреннем и образном. О внешнем, то есть о внешности, чем меньше говорить, тем лучше. Я сама перестаю о ней думать, и люди кругом перестают ее замечать (или делают вид, что не замечают ее). В перемену внутреннего уровня (так называемого характера) я тоже не буду вдаваться. Достаточно сказать, что я окончательно стала предпочитать неразрешенные (и неразрешимые) вопросы – готовым истинам. Первые меня все еще беспокоят, не меньше, чем прежде. Этому, вероятно, легко было бы найти объяснение. Третий уровень – уровень образа человека, тех знаков, которые дают окружающим информацию о нем (эти модные слова значат теперь все – от объявления о распродаже стиральных машин до лирического стихотворения) и через которые сам человек видит себя как в линейном (историческом, диахроническом), так и в синхроническом аспектах. Этот наиболее интересный уровень из трех требует небольшого комментария.

Я смотрю из настоящего в прошлое и вижу, что я всю жизнь была одна. Несмотря на мои замужества, на дружбы, на встречи, на прочные и продолжительные

отношения с людьми, на любовные радости и горести, на работу, я была одна. Несмотря на три “подготовки” (но не попытки!) самоубийства (внимательное рассматривание возможностей, какое несомненно бывает почти у всех), несмотря на разлуку с близкими, на отсутствие русской речи вокруг, я была счастливым человеком. Величайшим счастьем я считаю именно тот факт, что я была одна и ценила это. Я смогла узнать себя рано и продолжать это узнавание долго. И еще одно обстоятельство помогло мне: не нашлось никого, на кого я смогла бы опереться, мне нужно было самой найти свою жизнь и ее значение. На меня иногда опирались люди. И как-то так вышло (как, впрочем, у многих людей моего века), что мне в жизни “ничего не перепало”. Так что я никому ничего не должна и ни перед кем не виновата. Мне кажется, я никого не беспокоила собой и ни на ком не висла. И, благодаря здоровью, не слишком заботилась о самой себе. Мне давно стало ясно, что жить, и особенно умирать, легче, когда видишь жизнь как целое, с ее началом, серединой и концом. У меня были мифы, но никогда не было мифологии. Говорю это по праву долголетия.

И вот я увидела, что система личных символов, как и все остальное в мире, подвержена мутациям. Я изжила в себе и бедного Лазаря, и Товия, и его Ангела (но может быть, этого последнего – не совсем); я изжила в себе гордую фигуру на носу корабля. И теперь с некоторых пор меня стал занимать один образ – он приблизился ко мне совсем недавно. И мне кажется, что он в будущем уже не даст новых мутаций.

8 августа 1901 года Томас Эдисон, работая в Калифорнии и изобретая XX век, зажег небольшую электрическую лампочку в одном из калифорнийских пожарных депо. Представьте себе: она все еще горит! В 30-е годы в депо был ремонт, в 40-х годах в депо попала японская бомба. А лампочка все горит. И, судя по всему, она еще будет гореть некоторое время. Когда я была в Калифорнии, я не пошла смотреть на нее: “На что мне это? – подумала я. – Чего, собственно, я не видела?”

Хочу выразить здесь мою глубокую благодарность двум моим помощникам и друзьям Ирине Кухарец и Александру Сумеркину за их огромную помощь в редактировании и корректировании этой книги.

Благодарю Сергея Шуйского за советы и указания после прочтения им текста.

Н. Б.

Принстон, январь 1983

Если ты сможешь посмотреть

в семена времени

и сказать, какое зерно взойдет,

а какое – нет,

тогда говори со мной.

МАКБЕТ.

Действие 1, сцена 3

1. Гнездо и муравьиная куча

Эта книга – не воспоминания. Эта книга – история моей жизни, попытка рассказать эту жизнь в хронологическом порядке и раскрыть ее смысл. Я любила и люблю жизнь и не меньше ее (но и не больше) люблю ее смысл. Я пишу о себе в прошлом и настоящем и о прошлом говорю моим настоящим языком. В разное время я писала случайные очерки воспоминаний и, когда говорила о себе, чувствовала себя не совсем ловко, словно я навязывала читателю героя, которого он от меня не ждет. Здесь я буду говорить больше о себе, чем обо всех других, вместе взятых: почти все здесь будет обо мне самой, о моем детстве, молодости, о зрелых годах, о моих отношениях с другими людьми – таков замысел этой книги. Мысль моя живет не только в прошлом (как память), но и в настоящем (как сознание себя во времени). Будущего может не быть вовсе, или может быть оно кратковременно, схематично и фрагментарно.

История моей долгой жизни имеет, в моем сознании, начало, середину и конец. В процессе рассказа будет ясно, в чем я вижу смысл этой жизни (и может быть – смысл всякой жизни) и где путь к этому смыслу или хотя бы – где то направление, где этот путь лежит. Я буду говорить о познании себя, об освобождении себя, о раскрытии себя, о зрелости, дающей право на это раскрытие, об одиночестве в муравьиной куче, которое для меня всегда было чем-то более соблазнительным и плодотворным, чем одиночество в гнезде.

Из трех возможностей: жить для будущей жизни, жить для будущих поколений и жить для сегодняшнего дня – я очень рано выбрала третью, “свирепейшую имманенцию”, по выражению Герцена. Это одна из тех установок, которая пришла ко мне вовремя. Я во многом, но далеко не во всем, была развита преждевременно, но я научилась думать сравнительно поздно, и слишком часто я опаздывала, теряя драгоценное время – ту единственную основу жизни, ту ткань ее, которую нельзя ни купить, ни обменять, ни украсть, ни подделать, ни вымолить. Автобиография в отличие от мемуаров откровенно эгоцентрична.

Автобиография – рассказ о себе, воспоминания – рассказ о других. Впрочем, случается, что и воспоминания косвенно больше говорят о самом авторе, чем о людях, о которых он вспоминает. Я когда-то давно прочитала в одном еженедельнике очерк, назывался он “Три встречи с Львом Толстым”. Первая встреча: автор приехал в Ясную Поляну, но Толстой был болен и не принял его. Вторая встреча: он пришел в Хамовники и узнал, что Толстого нет дома. Третья встреча: он приехал в Астапово, Толстой только что умер… О Толстом я не узнала ничего, но как много я узнала об авторе очерка! Я никогда не забыла его.

Сейчас большинство книг в западном мире – вот уже лет пятьдесят – пишутся о себе. Иногда кажется, что даже книги по математике и астрофизике стали писаться их авторами отчасти о себе. Моя задача – написать о жизни осмысленно, не ставя смысла впереди жизни, будто ценишь его превыше всего, но и не ставя его позади жизни так, чтобы сквозь жизнь просвечивал ее смысл. Я хочу писать, осмысляя то, что было (и самое себя), то есть давая факты и размышления о них. В этом двойном раскрытии мне представляется пережитое.

Я ни в кого никогда не могла заглянуть так внимательно и глубоко, как в самое себя. Иногда я старалась, особенно в молодости, это делать, но это мало удавалось мне. Быть может, есть люди, которые умеют это делать, но я не встречала их. Во всяком случае, я не встречала людей, которые могли бы

заглянуть в меня дальше, чем я это делала сама. Познай самого себя – это всегда было фактом моей жизни, который, я не могу вспомнить когда, появился в моем сознании. Не познай вообще человека, или людей, или своих друзей, но именно самого себя. Я помню хорошо, как я впервые узнала, что земля круглая, или что все взрослые когда-то были детьми, или что Линкольн освободил негров (я долго думала, что он и сам был негр, глядя в его грустное, темное лицо), или что мой отец – нерусский. Но я не могу вспомнить, когда в моем сознании появился факт о познании самой себя и смотрении внутрь себя. Сколько я помню, он всегда был во мне, только, конечно, в разное время по-разному: в шесть лет, в восемнадцать лет, в сорок лет. Кажется, мысль о познании себя всегда жила во мне, только иногда, например между двадцатью и тридцатью годами, она дремала и только смутно сосуществовала со мной, а иногда, в раннем детстве и после пятидесяти лет, она ярко и требовательно руководила мной. Во всяком случае, пребывая со мной постоянно, она была ярче и требовательней в детстве, чем в молодости, и всего сильнее и неотступнее живет со мной сейчас.

У каждого человека есть тайны. Но некоторые люди несут их сквозь жизнь как тяжесть, а другие дорожат ими, берегут их, считают их не омертвелым грузом, но живой силой, которая живет и развивается и дает жизнь вокруг себя, той силой, из которой, собственно, до последней минуты существования произрастает личность. Через эти тайны прошлое во мне соединяется с настоящим. Я принадлежу к людям, у которых нет ничего, что бы они тащили за собой как мертвую тяжесть, подавляющую или угнетающую их. То, что я в свое время не сбросила с себя, увидев, что оно бесплодно, тому я дала цвести в себе, быть живым, менять меня, давать жизнь моей жизни. Я – кажется – из всякого балласта делала что-то (горестное или радостное), но непременно живое. Смотря на себя, я вижу, что мне, как говорится, все шло впрок, и если расплата за это иногда бывала непомерной, так ведь это была расплата за жизнь. И у меня было постоянное сознание, что за жизнь не может быть и нет непомерной расплаты, что бояться переплатить – значит внутренне умереть.

Я никогда не чувствовала свою отъединенность от мира и, даже если говорить правду, чувствовала свою сознательную слитность с ним еще тогда, когда лет 25–30 тому назад и не подозревала, что человек и скала – одно и то же, что нет органического и неорганического мира, что звездная туманность повторяет рисунок новооткрытых элементов и что человек по своим размерам стоит посередине между этой звездной туманностью и атомом. Заряд энергии, который есть во мне и который я ощущаю как волну тепла, проходящую по мне, когда я говорю слово “я”, не может быть отъединен от всей энергии или суммы

энергий мира в скале, в звезде, в другом человеке. Она – часть целого, и я – часть Вселенной. И бывают минуты, когда эту часть Вселенной я ощущаю больше целого. Я знаю, что мне фактом моего рождения был дан этот электрический заряд, колоссальный заряд громадной силы, если принять во внимание долголетие, здоровье, самосознание и возможность – до сих пор – моего самоизменения, и что в миг, когда его не будет, – его не будет.

Я сказала “самоизменения”. Познание себя было только первой задачей, второй было самоизменение. То есть, узнав себя, освободить себя, прийти к внутреннему равновесию, найти ответы на вопросы, распутать узлы, свести путаный и замельченный рисунок к нескольким простым линиям. Получить то, что никогда ни отнято, ни нарушено быть не может: сознание, что эмоциональная анархия молодости, интеллектуальные игры, затянувшийся вельтшмерц и трепеты дрожащей твари XX века – позади, что нет больше страхов, суеверий, колебаний, оглядки на других и модных миражей. И значит, в обретенном равновесии найти уверенность, что эти чудовища уже никогда не сделаются навязчивыми идеями, от которых в старости нет спасения.

Процесс разрешения этих двух задач и был драгоценной частью моей жизни.

Все это звучит страшно серьезно. Читатель, может быть, уже видит перед собой строгое лицо, очки, усы, вставные зубы, седые, прямые, коротко остриженные на затылке волосы (редеющие на темени) и то скучное, толстое и действительно “вечное” перо, которое держит артритическая рука с синими жилами. Картина неверная. У меня не только нет усов, но и бровей-то немного. В юности у меня было лицо миловидное и без всякого выражения, годам к сорока лицо сделалось худым и очень грустным. А теперь не мне судить, какое оно. Да я и не очень сейчас помню его, когда это пишу. Знаю только, что время поработало топором над моими чертами: оно отточило подбородок, обрисовало рот, подняло скулы, срезало щеки. Лоб стал твердым, и весь овал в своих тенях живет теперь жизнью куда более интенсивной, чем на ранних фотографиях. Но нос у меня до сих пор короткий.

А пишу я обыкновенным карандашом.

Трансцендентное меня мало интересует. Оно для меня лежит где-то неподалеку от “опиума для народа”, и его, как уголь или нефть, кто-то эксплуатирует. Меня это не касается. Как только оно выходит из своих недр и пытается вмешаться в мою жизнь, я настораживаюсь: оно несет с собой ложные истины, легкие

ответы, и его нельзя подпускать близко. Все, что в христианской религии – одном из элементов нашей цивилизации (ныне на наших глазах сливающейся с культурой) – есть высокого, есть и было в других религиях, которые тоже есть и были элементами цивилизации. Бога убивали, бога “вкушали” всегда и всюду. Ни Деяния апостолов, ни Апокалипсис, ни церковь не взорвали рабства, Новый Завет ни слова не сказал о животных и скорби мира в их глазах. Девятнадцать столетий после заповедей блаженства люди все еще смеялись над горбунами, уродами, калеками, над импотентами обоего пола, над обманутыми мужьями и старыми девами. Освободив людей духовно, христианство не освободило их социально, и только демократия XIX и XX веков отучила людей кичиться богатством и презирать бедность, предложила один закон для всех и право не быть ни проданным, ни купленным.

Одно убеждение постоянно жило и живет во мне, что мой век (с которым вместе я родилась и вместе старею) – единственный для меня возможный век. Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла я быть счастливее? В XIX веке, среди пушкинских Нанетт и Зизи? Среди герценовских Наталий (или их воспитанниц)? Среди дочек и маменек нарождающейся буржуазии? Или ученых поборниц женского движения? Или, может быть, в XVIII столетии? Или еще раньше, когда по всей Руси спали, ели и молились, молились, ели и спали молодые и старые?

Я пришла на готовое. Вокруг меня лежат сокровища – только успевай их хватать. Я свободна жить где хочу, как хочу, читать что хочу, думать обо всем, о чем хочу, так, как я хочу, и слушать кого хочу. Я свободна на улицах больших городов, где никто не видит меня, когда я иду под проливным дождем, не зная куда и откуда, бормоча стихи; и в лесу, и на берегу моря в благословенном одиночестве и музыке, звучащей во мне; и у себя в комнате, когда закрываю дверь. Я могу знать все, что хочу знать, и я могу забыть все, что мне не нужно. Я могу задать любой вопрос и получить на него ответ. Я выбираю своих друзей. Я счастлива, что все теоремы моих незрелых лет разрешены. Я никогда не притворяюсь – умнее, красивее, моложе, добрее, чем я есть на самом деле, – с целью казаться иной, чем я есть, потому что в этой неправде нет для меня никакой нужды. Я живу в невероятной, в неописуемой роскоши вопросов и ответов моего времени, которые мне близки и которые я ощущаю как свои собственные, в полной свободе делать свой выбор: любить то и тех, кого мне хочется. Я нахожусь в центре тысячи возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду – ужасы и бедствия

моего века помогли мне: революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение.

Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания (тяжелая задача, которой занимаются вот уже пятьдесят лет во Франции Луи Арагон и Жан Поль Сартр) мне было не нужно: я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было и никто всерьез не держался за старые принципы – во всяком случае в той среде, в которой я росла. В России 1912–1916 годов все трещало, все на наших глазах начало сквозить, как истрепанная ветошь. Протест был нашим воздухом и первым моим реальным чувством. И я только очень поздно, лет двадцати пяти, узнала, что я принадлежу по рождению к буржуазному классу. Не чувствуя с ним никакой связи (главным образом потому, что ведь вся моя жизнь прошла среди деклассированных изгнанников, какой я была сама и какими были герои моих рассказов и романов), я должна все-таки сказать, что буржуазия как класс для меня всегда была и любопытнее, и интереснее, чем, например, остатки класса феодально-аристократического, и, пожалуй, так же любопытна и интересна, как и рабочий класс, но гораздо менее, чем класс так называемой интеллигенции, деклассированной или нет, к которому я чувствую себя наиболее близкой. А наиболее далеко стоят от меня все власть имущие – диктаторы, триумвиры, личности, дождавшиеся культа, и личности, культа дожидающиеся, и всяческие добрые и злые короли – динозавры, которым следует во всех смыслах (если предложен выбор) предпочитать акул.

Все это не имеет прямого отношения к трудной или легкой жизни, к работе ради хлеба насущного, к быту, перед которым (за малыми исключениями) мы все равны.

В быту всякий труд, какой бы он ни был тяжелый, всегда должен иметь для меня след хоть какого-то символического значения: мне было бы легче набивать новые подметки на старые сапоги или шить мешки, чем высчитывать задолженность или торговать ненужными предметами. Но все это – быт и хлеб насущный – горизонтальная плоскость нашего общего существования, я говорю не о ней сейчас, я говорю о его вертикали. Когда-то в вертикальном измерении (интеллекта) жили очень немногие, и те, которые жили, часто страдали от чувства вины перед остальными, которые жили в измерении горизонтальном. Сейчас все люди, которые того хотят, могут научиться жить по вертикали со спокойной совестью: для этого необходимо три условия – хотеть читать, хотеть думать, хотеть знать. Как сказал Ясперс: чихать и кашлять учиться не надо, но

мыслям надо учиться. Разуму надо учиться. Разум не есть функция организма.

Когда я вспоминаю себя в раннем детстве (я помню себя без малого трех лет), я вижу людей-великанов и огромные предметы, деформированные потому, что я смотрю на них снизу, как существо очень маленьких размеров. Высоко надо мной я вижу ветку яблони (на самом деле взрослому человеку она доходит до пояса). Я не могу ее схватить, становлюсь на цыпочки и протягиваю к ней руки. Я вижу громадный розовый дом, который на самом деле был одним из тех “домов с мезонином”, о которых писал Чехов. Я вижу великана с целым кустом сирени в руках, сидящего напротив меня на палубе парохода, идущего по Неве от Смольного к Адмиралтейству, в солнечный, голубой день. Он улыбается и дает мне ветку, он чужой, но я не боюсь чужих, я беру у него эту кисть сирени, и мне приятно, что я понравилась ему. Я вижу где-то под самым небом окно, и кто-то кивает мне и манит меня, весь белый и немного страшный, – это протирают стекла, намотав на швабру белую тряпку. Ветка яблони в конце концов после того, как ее пригнули, попадает в мои протянутые руки, я повисаю на ней и качаюсь, воображая, что дерево – это просто громадный цветок и я теперь вишу на этом цветке, вроде букашки. Я падаю, сорвавшись, мне не больно, и я встаю и бегу куда-то, где зелень гуще, где пахнет сыростью, где шелковая трава, и там у старого деревянного сруба останавливаюсь и нагибаюсь над чем-то, что кажется мне бездной, пока меня, схвативши сзади, не оттаскивают. Это – старый колодец, и я каждое лето буду смотреть в него: он пуст, и сух, и черен, и в нем давно нет воды. Но я каждый год буду смотреть в него, все дольше и дольше, пока наконец лет в двенадцать я не почувствую желания спуститься в него. Но спуститься не на чем, можно только стоять и слушать, как в глубине, давно сухой, что-то иногда потрескивает и шелестит. И тогда мне придет в голову, что меня кто-то может посадить туда и забыть и я там буду умирать от жажды. И сейчас же мне захочется, чтобы это случилось как можно скорей, чтобы на дне колодца найти родник, ключ, который станет поить меня. Я найду его и буду пить из него, и никто не будет знать, что я жива, что я продолжаю думать, сочинять стихи про колодец и ключ и что этот ключ бьет только для меня одной.

Мой дед со стороны матери принадлежал к вольнолюбивому тверскому земству, а лицом был совершенный татарин. Его звали Иван Дмитриевич. С Дмитрия Львовича, отца его, Гончаров писал своего Обломова и однажды, будучи в гостях у своего героя, забыл бисерный футляр для часов, которым я в детстве играла. Футляр был потертый, страшно засаленный, и мне его не позволяли брать в рот, но я ухитрилась все-таки попробовать его – вкусом он напоминал куриную котлетку. При отце Дмитрия Львовича, Льве Ивановиче, сгорел старый белый

ампирный дом и был выстроен новый розовый, который я знала. Об Иване Семеновиче, отце его, было известно только одно, что он выстроил церковь в самом конце сада и был похоронен под ней. О Семене Юрьевиче ничего известно не было, зато Юрий (уже без отчества) был тот самый, который получил от Екатерины Второй всю эту болотистую и лесную землю, с шестью деревнями и пятью тысячами десятин лесов, болот, лугов и пахотной земли. Вся галерея предков висела в полутемной гостиной: Юрий (без отчества), похожий на Державина, весь в орденах и буклях, Семен Юрьевич и его жена, с сильно раскосыми глазами, Иван Семенович, благообразный и богомольный, в высоком воротничке, Лев Иванович и его три сестры, все четверо в профиль и рисованные пастелью, и наконец – Дмитрий Львович, весивший под старость одиннадцать пудов. Лет до шести я путала собственного прадеда, Илью Ильича Обломова и его автора, и мне казалось, что Обломов и был тем писателем, который бывал в доме и написал известный роман из жизни Дмитрия Львовича, который стал таким толстым потому, что был ленив (следы семейной басни с подобающим нравоучением).

Из татарского “черного города” приехал на Русь в царствование Ивана Грозного, а может быть, был привезен, Кара-Аул. Он крестился и не вернулся в свое татарское царство. Что делали его потомки те двести лет, которые прошли до того дня, когда Екатерина подарила Юрию имение, за что это имение было ею подарено и каким образом Юрию дались его ордена и букли, осталось мне неизвестным. Старины в доме было немного, все, что было, было связано с прошлым веком, о позапрошлом и помину не было. На чердаке, в беспорядке, покрытые паутиной, валялись старые кринолины, бархатные альбомы, глобус, комплект “Вестника Европы” и большое количество флердоранжа, символа невинности, который надевался дворянским невестам на голову в день свадьбы. Из него я как-то раз сплела венок для старого сенбернара.

Дед был небольшого роста, с круглым брюшком, с одним черным зубом во рту и курчавой зелено-серой бородой, в которой иногда что-нибудь застревало. Я помню его домашним и помню его парадным, когда он, мертвый, лежал в гробу, после того как служащий похоронного бюро надел на него вицмундир, ордена и ленту и раскрасил его розовой и палевой краской (это делалось для того, чтобы мертвец выглядел живым и красивым). Служащий похоронного бюро заперся с ним часа на два и разделал его таким румяным, веселым и нарядным, что даже борода перестала быть зеленой, а стала голубовато-белой. Домашним он был совсем другой: часто, уже в глубокой старости, его костюм бывал в беспорядке и под носом висела небольшая капля, говорили, что это оттого, что он принимает йод. Я не знаю, что именно делал он в Петербурге, – вся его жизнь

была посвящена городу Устюжне и Весьегонскому уезду Тверской губернии. Сейчас поблизости этих мест сооружено Рыбинское водохранилище, чтобы поить Волгу водой широких и ленивых вологодских, тверских и ярославских рек. Во время моего детства это были бедные места, крестьяне жили в нищете, земля рожала плохо, железная дорога проходила в девяноста восьми верстах от усадьбы, и в детстве я только и слышала, что дед крестит у крестьян, выхлопатывает способным стипендии в уездную прогимназию, устраивает кого-то в больницу в губернском городе, приглашает в волость нового фельдшера, гонит спившегося попа из соседнего села.

Да, это были бедные, печальные и дикие места: в лесах дремучих и воистину девственных водились волки и медведи – их редко трогали; река Саванка, приток Мологи, была неприступна из-за количества комаров, тучами круживших над ней, в болотистых берегах легко было завязнуть; поля тянулись на сотни верст, горизонт был прям и тверд; дороги, часто гати, уходили в бескрайние дали, где только жаворонки пели свою песнь.

Семья Карауловых была большая, и, вспоминая свое детство, я вижу, что не все в этой семье было благополучно: бабушка, мать моей матери, видимо, сделала небольшой мезальянс, выйдя за дедушку, человека, принадлежавшего всем сердцем эпохе великих реформ, а позже – кадетской партии, вместе со своими друзьями, членами Государственной Думы Петрункевичем, Колюбакиным и, конечно, Ф.И. Родичевым, знаменитым думским трибуном. Бабушка была из сановной семьи, не любила вольнодумств, какие-то родственники ее были министрами и иными высокопоставленными лицами, и все эти больницы и гимназии, которые помогал строить дед, были ей совершенно, я бы сказала, противны. Она умерла, когда мне было двенадцать лет, и я думаю, что она мало чем отличалась от своей матери или бабки, говоривших “ты” слугам и втайне считавших крепостное право злом средней руки.

Родичев, Федор Измайлович, у которого был такой могучий голос, что фрейлейн и я слышали его с другого конца сада, когда он приезжал, и другой кадет, член Государственной Думы, Колюбакин, и Павел Ассикритович Корсаков (женатый на дочери бывшего крепостного, женщине передовой и образованной, отец “Ванечки”, однокашника Осипа Мандельштама по Тенишевскому училищу) – все это были друзья деда. Уездный предводитель дворянства, попечитель женской гимназии, мировой судья, основатель реального училища – всем этим он был, и земская деятельность заполняла его жизнь. Не знаю, на каком основании он получил чины и каким образом умер действительным статским советником, не

знаю даже, почему на официальном портрете, висевшем в каком-то уездном учреждении, видимо, им основанном, он был изображен с красно-белой лентой через плечо – не то с Анной, не то со Станиславом на шее (таким, каким лежал потом в гробу). Я только раз видела его едущим на официальный прием, это был какой-то смотр дворянству, устроенный Николаем Вторым, когда дед вдруг снял свой уютный, обсыпанный перхотью сюртук и надел шитый золотом мундир, и даже треуголку (все тщательно проветренное на морозе), и стал похож на городничего из “Ревизора”, каким его играл в Александринке В.Н. Давыдов. Позже он рассказывал, что на приеме стоял руки по швам. Николай медленно шел, останавливался, задавал вопросы. Он остановился около деда, спросил: далека ли от его мест железная дорога? Дед не удержался и ответил: “Сто верст, ваше величество. Пора бы провести ветку в нашу сторону, давно пора”.

– Россия велика, – сказал царь, грустно улыбнувшись, как и подобает царям, – нельзя в такой великой стране все сделать сразу.

(Какие темпы, собственно, считал он приличными для перемен в России? Ему самому дали по шапке на сто лет позже, чем следовало!)

Это было в Петербурге. В тот год мы вместе с дедом в первый раз проехались на трамвае. Они стали ходить от Николаевского вокзала, до того были только конки. Поехали мы в гости к его сестре. У него были две сестры, которых я, конечно, знала только в старости, и о них я хочу сказать здесь несколько слов.

Ольга Дмитриевна для меня всегда была каким-то подобием Анны Карениной. Она была замужем за князем Ухтомским, сошлась с другим, родила от этого другого сына (впоследствии – скульптор, женатый на Евг. Павл. Корсаковой, расстрелянный в 1921 году по делу Таганцева), уходила от мужа, возвращалась к нему, ездила за границу и не получила развода. Сын другого носил фамилию мужа, и этот муж, хоть и знал, что сын не его, не отдавал ей мальчика и мучил их всячески. Эта нелепая и тяжелая история кончилась тем, что в конце концов все умерли после страданий, “позора”, “скандала” и потери средств к существованию. Почему дед повез меня к ней, я не знаю; я, конечно, ничего тогда обо всем этом не знала, видела перед собой уже очень пожилую, но еще красивую и ласковую женщину. Кряхтя, дед влез в трамвай и вылез из него. Все вместе оставило во мне какое-то меланхолическое впечатление.

Другая сестра деда, которую звали Алина, была совсем другой судьбы. Она время от времени появлялась в имении и была в полном смысле слова

посмешищем прислуги: стриженная под гребенку, носившая мужскую одежду, говорившая басом, она была не то мужчиной, не то женщиной, а вернее всего, гермафродитом. Замужем она, конечно, никогда не была, обо всем имела свое собственное мнение, которое выражала резко, не заботясь о том, какое это и на кого произведет впечатление. Мне всегда хотелось узнать, бреется ли она. В ее жизни было десять лет, о которых никогда не говорилось. В последний раз, когда я видела ее, мне было лет тринадцать. Она была полупарализована, едва влезла в шарабан (теперь она носила широкие до полу канифасовые юбки и курила трубку) и села рядом со мной. Я взяла вожжи в руки, и мы тихонько поехали по пыльной колеистой дороге в поля, кататься, так просто, без всякой цели. Чтобы ее занять, я читала ей стихи – свои и Блока, которые тоже выдавала за свои. Они ей нравились. Надо ли говорить, что Алина и Ольга Дмитриевна приглашались в дом бабушкой, когда других гостей не бывало?

В кабинете деда, где когда-то сидел Гончаров и, как я понимаю, изучал своего героя, сидела теперь я. К деду ходили по утрам крестьяне, или, как их тогда называли, мужики. Были они двух разных родов, и мне казалось, будто это были две совершенно разные породы людей. Одни мужики были степенные, гладкие, сытые, с масляными волосами, толстыми животами и раскормленными лицами. Они были одеты в вышитые рубашки и суконные поддевки, это были те, что выходили на хутора, то есть выселялись из деревни на собственную землю, срубив новые избы в еще недавно дедовском дремучем лесу. Они в церкви шли с тарелкой, ставили у образа “Утоли моя печали” толстые свечи (хотя какая могла быть у них печаль?), Крестьянский банк давал им кредит, и у них в избах, где я иногда бывала, стояла на окнах герань и пахло сдобным кренделем из печки. Сыновья у них росли энергичные, они начинали новую жизнь для себя, а для России – в зародыше новый класс.

Другие мужики были в лаптях, ломали шапку, дальше дверей не шли, одеты были в лохмотья, и лица их были потерявшие всякое человеческое выражение. Эти вторые оставались в общине, они были низкорослые, часто валялись в канаве подле казенной винной лавки, и почему-то всегда выходило так, что у них детей было мал мала меньше, баба на сносях или в чахотке, а малыши в коросте, и дома у них (где я тоже бывала нередко) разбитые окна были заткнуты тряпкой, и теленок с курами находился тут же, и пахло кислым, в то время как у степенных и толстых почему-то всегда вырастали ловкие, веселые и работящие сыновья, невестки на загляденье, а когда появлялись внуки, их отсылали в уездный город в реальное училище. Бабушка, конечно, терпеть не могла ни тех, ни других.

Деда, который был всей душой против столыпинской реформы и всецело за общину, видимо, все это часто мучило; сознание, что кругом все еще продолжается трехпольная система, и в амбарах ближайшей деревни все еще молотят цепами, и в некоторых волостях нет других школ, кроме приходских, и что маккормики живут главным образом в Англии, а не в России, видимо, нагоняло на него порою тоску, потому что вдруг, ни с того ни с сего, походив часа два по зале по диагонали, заложив руки за спину, он приказывал закладывать тарантас и уезжал на неделю. Возвращался он как-то незаметно, проходил к себе в кабинет (где спал по тогдашнему обычаю на тахте) и с слегка виноватым видом являлся в столовую. С женой своей он разговаривал мало. Много позже я узнала, что в Новгородской губернии у него была вторая семья: женщина намного моложе него, которую он любил, и трое детей. Я была счастлива узнать об этом.

Мне было десять лет, когда мне в голову пришла странная мысль о необходимости скорейшим образом выбрать себе профессию. Возвращаясь мысленно к этому времени и роясь в ранних событиях моего детства, я могу теперь объяснить (хотя, может быть, только частично) это желание найти себе в жизни дело: года за четыре до этого я совершенно случайно, но с неопровержимой силой узнала, что у мальчиков есть что-то, чего нет у девочек. Это произвело на меня ошеломляющее впечатление, однако ничуть меня не обидело и не привело ни к зависти, ни к чувству обездоленности. Я, впрочем, очень скоро забыла об этом обстоятельстве, и оно – во всяком случае на поверхности – не сыграло роли в моем дальнейшем развитии, но, видимо, застряло в подсознании (или там, где ему полагается быть). В недетской силе едва сформулировавшегося желания иметь профессию “на всю жизнь”, иметь что-то, что могло бы срастись со мной, как рука или нога, и быть частью меня, я теперь вижу некую компенсацию чего-то, чего я, как девочка, была лишена. Я искала не только самую профессию, но и акт выбора ее, акт сознательного решения, и этот акт вырос из неизвестного мне тогда тайника. Теперь я хорошо знаю, что не все решительные и бесповоротные действия мои на протяжении шестидесяти лет были результатом сознательного решения: отъезд из России в 1922 году не был таким результатом, а неотъезд из оккупированной Франции в 1940 году им был. За всю мою жизнь ответственный выбор, имевший значение для моей судьбы и индивидуальности (значение глобальное или тоталитарное), был сделан мной не более четырех-пяти раз, но, признаюсь, каждый раз этот сознательный выбор давал мне сознание силы жизни и свободы, острое ощущение электрического заряда, которое можно назвать счастьем, вне зависимости от того, нес ли этот выбор за собой житейское благополучие или явный ущерб его. И ощущение “электрического счастья” не уменьшалось от

того, что выбор мой был частично обусловлен законами времени, то есть законами биологическими и социальными. Я не мыслю себя вне их.

Осуществление первого сильного желания выбрать, решить, найти, сознательно двинуть себя в избранном направлении дало мне на всю жизнь, как я понимаю, чувство победы не данной свыше, но лично приобретенной – не над окружающими, но над собой. И вот я написала на листе бумаги длинный список всевозможных занятий, совершенно не принимая во внимание того обстоятельства, что я не мальчик, а девочка, и что, значит, такие профессии, как пожарный и почтальон, собственно, должны были быть исключены. Между пожарным и почтальоном, среди сорока возможностей, была и профессия писателя (я не придерживалась строго алфавитного порядка). Все во мне кипело, мне казалось, что необходимо теперь же решить, в самом срочном порядке, кем я в жизни буду, чтобы соответственно с этим начать жить.
Я смотрела в свой список, словно стояла перед прилавком с разложенным товаром: мир открыт, я вошла в него, ворохом рассыпаны передо мной его ценности. Даром бери! Все твое! Хватай, что можешь! Алфавитный порядок не совсем тверд в уме: мне не совсем ясен тот закоулок, где ять, твердый знак и мягкий знак играют с буквой ы в прятки. Но мир настежь открыт передо мной, и я начинаю лазать по его полкам и ящикам.

И вот, после долгих размышлений, в полном одиночестве и секрете, решение пришло ко мне. И тогда из меня хлынули стихи: я захлебывалась в них, я не могла остановиться, я писала их по два, по три в день, читала их самой себе, Даше, фрейлейн, родителям, знакомым, кому придется. Это суровое чувство профессии всю жизнь уже не оставляло меня, но в те годы оно, мне кажется, было не совсем обычным: ведь в десять лет я играла в игры, норовила увильнуть от приготовления уроков, стояла в углу, колупая штукатурку, – словом, была такой же, как и все дети, но рядом с этим жила постоянная мысль: я – поэт, я буду поэтом, я хочу водить дружбу с такими же, как я сама; я хочу читать поэтов; я хочу говорить о стихах. И теперь, смотря назад, я вижу, что мои две сильные и долгие дружбы были с такими же, как я, пишущими стихи, выбравшими для себя в жизни призвание, прежде чем войти в жизнь. Один расстрелян в годы сталинского террора, другая в сталинском терроре потеряла двух мужей.

Я хорошо помню то лето и поиски профессии. Я решила испробовать все, что возможно, и не терять времени, которым я всегда очень дорожила. Сначала вопрос встал: не быть ли акробаткой? Несколько дней я упражнялась

в гимнастике, но мне это очень быстро надоело. Затем я обратилась к естественным наукам и, набрав в банку воды из пруда, целыми часами наблюдала за инфузориями. Но и это показалось скучно. Узнав, что есть люди, которые записывают народные песни, я взяла тетрадку и карандаш и отправилась вечером на дойку. Там девки пели: “Как сегодня горох, да и завтра горох, приходи, моя милая, подоивши коров”. Записать было нетрудно: песня была пропета раз двести, пока не передоили всех коров – а их было немало, потому что дед в эти годы жил главным образом продажей сливочного масла и голландского сыра, который выделывался тут же, в избе, называемой заводом. Но и фольклор не удовлетворил меня, и на меня нашло что-то вроде черной тучи. Я боялась, что меня подымут на смех, а вместе с тем было ясно: я должна была, не откладывая в долгий ящик, найти себе профессию. Я слонялась целыми днями по дому, по саду, по двору, упала в крапиву, была укушена гусем, рыдала на чердаке под кринолинами, но профессия мне не являлась. В этом безутешном состоянии мне попалась “Молитва” Лермонтова. Я переписала ее, подписала ее. Она утешила меня, мне показалось, что я ее сама сочинила.

Все семь дочерей сельского священника, из которых две младшие были моими сверстницами (так же, как их брат, со странным именем Авенир), твердо знали с самых ранних лет, что они пойдут в сельские учительницы, и это очень нравилось мне. Священник был беден и совершенно необразован, но у дочерей его были стипендии, и они жили зимой в городе. Бедность в доме была ужасающей, и они стыдились меня, когда я заставала старших босиком, моющих в доме полы, а младших – хлюпающих по навозу во дворе, бегающих от свиньи к корове, облепленной синими мухами. Эти четыре дома, стоявшие между усадьбой и церковью, были окружены густыми кустами сирени, жасмина, жимолости. У дьякона жена была глухонемой, у псаломщика дети лет до десяти ходили голые – такая была нищета. Четвертый дом принадлежал двум старухам, одна была без носа. Они бросались целовать мне плечи, руки, платье, когда я проходила мимо. Горничная Даша сказала мне однажды, что они “бывшие гулящие” и если много гулять, то останешься без носу. Им посылали остатки праздничных обедов. Кто были эти женщины? Почему дедом им был дан дом между домами попа и дьякона? Они считались портнихами. Возможно, что это так и было когда-то, но сейчас – растрепанные, седые, страшно худые, они были похожи на старых ворон.

Мне было стыдно, что они целуют меня, мне было стыдно босых ног поповых дочерей, и своих собственных босых ног, и даже голых рук летом, не говоря уже о купальном платьице, в которое меня рядили, хотя в воду я не шла или шла

с воем. С тех пор, как я себя по- мню, и лет до двенадцати-тринадцати я изнемогала от стыдливости. Стыдно было показать пальцы ног. Стыдно было за сказанную глупость. Стыдно было за бальное платье матери, в котором она показывала свои красивые плечи, стыдно было обкусанных ногтей и царапины на носу. Иногда бывало стыдно за чужую глупость, за ошибку очередного кумира (Ходасевич в шутку называл стыд за другого “гипертрофией чувства ответственности”). Но, конечно, больше всего было стыдно пальцев ног. Когда меня еще мыли в корыте, я старалась, чтобы мыльная пена прикрывала их, чтобы они были одеты ею. И самым страшным была для меня пара легких скрипучих сандалий: вот эти в воде не тонут и в огне не горят, сказал приказчик обувного магазина в Гостином дворе, примеряя их мне (я, разумеется, была в черных рубчатых чулках, так что могла кое-как все это вытерпеть без рева). Негорящие, нетонущие сандалии стали для меня на несколько лет образом непобедимого и неотвратимого летнего ужаса.

В церковь я не ходила. Сначала меня водили, потом, когда я подросла и водить было уже невозможно, я старалась увильнуть от “Утоли моя печали” и всего того, с чем я не чувствовала ничего общего. Помню, когда еще мне приходилось бывать там, как каждое воскресенье в левом приделе стояли рядом маленькие гроба с младенцами – шесть, восемь, иногда и больше. Младенцы были все одинаковые, похожие не то на кукол, не то на пасхальных поросят, которым кладут в рот салатный листик. Некрещеных хоронили в одной стороне кладбища, крещеных в другой. Дед говорил с ностальгией: “Да, так-то, братец (это он мне говорил “братец”), у нас вот так-то. Глушь. Это тебе не Московская губерния и не Орловская губерния. Это, братец, наши места: девяносто восемь верст до железной дороги, шестьдесят шесть верст до ближайшей больницы, сорок три версты до фельдшера. И так далее, братец, и так далее.
И бездорожье, смотри-ка, братец, бездорожье, дебри, болота. А уж в распутицу-то! – он махал рукой, – когда мосты сносит, фельдшера и того добиться невозможно. Скачи – не доскачешь: Филипп Геннадиевич позавчера уехали и по сю пору не возвращались. Так-то, братец”. (Все в свое время, сказал царь с печальной улыбкой.)

Я часто сидела за тахтой в углу, в старом кресле, когда степенные мужики рассуждали о долгосрочных кредитах в Крестьянском банке, говоря “вы” деду и “мы” себе самим. Один из них, Савва Кузьмич Караулов (большинство из них при выборе паспорта брали фамилию ближайшего помещика), с хитрым лицом и чистыми, сильными руками, недавно был произведен в церковные старосты, а старший сын его собирался открывать в волости скобяную лавку. Разговоры продолжались долго, обоим Карауловым они были интересны, и торопиться было

некуда. Начинало смеркаться, Даша вносила свежезаправленную керосиновую лампу с матовым абажуром, на котором было нарисовано множество любопытнейших вещей, поблескивал на стене портрет дяди Сережи, маминого брата, нечаянно застрелившегося на охоте восемнадцати лет. Кресло, в котором я дремала и слушала их, было обито какой-то рубчатой материей, и я перебирала пальцами эти рубчики и мечтала о том, чтобы сделаться вдруг слепой и научиться читать пальцами. Вот, скажу я им, вы видите, я сделалась слепой, но это совершенно ничего не значит, я могу прочитать все, что хочу, пальцами. Потом мне приходило в голову, что пора идти ужинать, что на нас с дедом будут сердиться, и с удивлением видела, что перед дедом сидит уже не Савва Кузьмич Караулов, а Тимофей без фамилии в опорках и лаптях, сидит на краю того же кресла, мнет в руках шапку и слезящимися глазами смотрит на деда, который говорит:

– Э-э, братец, землю я тебе под дом дам, но кто же у тебя его строить будет? Анисья? Матрена? Ты их сначала замуж выдай, зятьев заведи. Небось старшей скоро двадцать? Пора ей. Засиделась! А впрочем, братец, я подумаю. Пока ты знай лес бери, слышь, говорю, лес бери. Мы это абгемахт[1 - Решено (нем.). Здесь и далее примечания автора.] обделаем. А о земле дай подумать. Не могу я так быстро думать. Я старый человек, братец, престарелый русский человек, не какой-нибудь вьюн-француз. А теперь ты на кухню поди. Поди, поди, там тебе дадут что надо.

Он выходил в столовую, а я за ним. Он говорил: “Дайте-ка мне ту мазь, что мне в прошлом году доктор Вассерквелле в Киссингене прописал, когда я устрицами объелся. Тимофей все под мышкой сегодня чесался”. На что его жена, дама тонная, брезгливая, серьезная, спокойно отвечала: “Он чесался потому, что у него насекомые. Его портянки ампестировали[2 - Отравляли (фр.).] нам всю атмосферу. Тут необходимо провентилировать воздух, иначе мы все будем сюфокэ[3 - Задохнувшиеся (фр.).]”.

У нее был дядя – министр Александра Третьего, и двоюродный брат – министр Николая Второго. Но на этом все и кончалось: племянники все были никудышные, а сын погиб на охоте.

В темной русской ночи бывала особенная тишина. Она длилась, длилась, длилась, словно не было ей начала и не будет конца. “И если ты в ней застрянешь со своими мечтами и надеждами, – говорила я себе, – то она затянет тебя, засосет, проглотит, эта беззвучность, эта неподвижность и бездыханность

в саду, в доме и в полях, и так до горизонта”. Я садилась на подоконник и думала, что, может быть, мне заняться лечением людей, или стать сельской учительницей, как поповы дочки, или пойти пахать, как Толстой, или научиться строить эти великолепные тесовые избы с геранью и петушками по карнизу, в которых я поселю потом Тимофея и его родственников. Я все продолжала выбирать себе профессию и никак не могла выбрать, а спросить совета было не у кого, потому что человечество разделялось тогда для меня на две половины: доброжелатели, которые, по моему убеждению, понимали в этих делах еще меньше меня, и враги, которые ничего не могли посоветовать хорошего.

Я многих и многое любила в то время, но я также умела и ненавидеть. Я ненавидела главным образом все то, что имело отношение к гнезду, к семейственности, к опеке, к защите малых (то есть меня) от чего-то страшного, или опасного, или просто рискованного. Пригреться подле кого-нибудь, притулиться к кому-нибудь, укрыться – мне это казалось не только в высшей степени противным, но и унизительным. Помню, как я однажды почти грубо спихнула руку моей матери со своего плеча. Этот жест – взять за плечо – вдруг представился мне не просто ласковым движением руки, но символом покровительства, защиты, которых я не могла вынести. Я спихнула руку и глубоко вздохнула, словно стащила со своего лица подушку, пытавшуюся меня задушить. От чего, от каких ужасов и страхов, видений и катастроф, от каких обид, болезней и печалей хотят защитить меня? Я готова к ним, я жду их, я рвусь к ним. Я учусь писать обеими руками, так что если кто-нибудь отрубит мне правую, я перехитрю его. А если мне суждено потерять обе ноги, я буду ползать на обрубках, как тот нищий на паперти, – недаром вот уже два дня, как я учусь ползать по полу, когда никто не видит, к удивлению двух собак – сенбернара и таксы.

Живя в гнезде, я еще не понимала, конечно, всего того, что это понятие несет с собой, но как в жесте руки, положенной на плечо, я увидела больше, чем жест, так и в гнезде я видела символ. Никогда в течение всей моей жизни я не могла освободиться от этого и до сих пор думаю, что даже муравьиная куча лучше гнезда, что в муравьиной куче можно жить более вольно, чем в гнезде, что там меньше тебя греют твои ближние (это грение мне особенно отвратительно), что в куче среди ста тысяч (или миллиона) ты свободнее, чем в гнезде, где все сидят кружком и смотрят друг на друга, ожидая, когда наконец ученые выдумают способ читать мысли другого человека. Это не значит, что всякая семья есть для меня гнездо; бывают исключения, и даже постепенно их становится все больше. Но психология гнезда мне омерзительна, и я всегда сочувствую тому, кто бежит из гнезда, хотя бы он бежал в муравьиную кучу, где хоть тесно, но где можно

найти одиночество – самое естественное, самое достойное состояние человека. Драгоценное состояние связи с миром, обнажение всех ответов и разрешение всех скорбей.

Романтическая в своей основе мысль, что скала или камень живут одни, а человек живет скопом, в тесном единении с себе подобными, не только неверна, но по существу своему прямо противоположна истине. Скала живет в тесном единении своих молекул, она являет собой некое неделимое единство множественности миллиардов частиц, составляющих одно целое. Но чем дальше мы уходим от камня и чем ближе подходим к человеку, тем яснее видна дифференциация непреложная и необходимая. Удивительно живучи ложные идеи! Они даже имеют свою эволюцию. Сначала они – истины, потом житейские бытовые законы и наконец – суеверия. К категории таких суеверий относится и понятие бессмертия. Но прежде всего: кому нужно бессмертие? Кто хочет, утратив способность меняться самому, мешать другим меняться? И потом: что такое бессмертие? Нам говорят: бессмертно то, что не умирает. Но что же именно в природе не умирает? Да ведь только то, что размножается, делясь. Амеба бессмертна, потому что она делится, чтобы размножаться, и потому она, так сказать, живет вечно. Но мы, люди, размножающиеся через пол, умираем и не можем быть бессмертны, потому что мы не делимся.

Страх (а иногда и ужас) одиночества относится к тому же ряду ложных суеверий – из него сделали пугало. Между тем, ничего еще не подозревая, я с самых ранних лет стремилась к тому, чтобы быть одной, и ничего не могло быть страшнее для меня, как целый день, с утра до вечера, быть с кем-нибудь, не быть со своими мыслями, не отдавая никому отчета в своих действиях, иногда даже ведя сама с собой диалог и читая все, что ни попадется: сперва объявления в “Речи”, по которым меня учили читать (“Господа рекомендуют повара” или “Сдается квартира с дровами”), потом “Вот-тот-кот, кошка-тоже-хороша” – модный в то время букварь (имя автора мною забыто); потом “Детствоиотрочество” (я гораздо позже узнала, что тут не одно слово, а целых три, бежала по нему глазами в спешке узнать “а что потом”?) и наконец – “Преступление и наказание”, уже лежа на животе и жуя травки, под деревом, в полной погруженности проглатывая иногда вместе с соком травки безвкусного паучка.

Вспоминаю такой вечер: я лежу в жару, петербургский вечер синий и черный за окном, а рядом со мной – лампа, чай с лимоном и лекарства на столике, часы показывают десять минут шестого, компресс сжимает мне горло; мать сидит

прямая и строгая на жестком прямом стуле подле меня. Почему она сидит? Почему не уходит? Мне хочется быть одной, закрыться с головой одеялом и тихонько в темноте, тепле и сосредоточенности одолевать болезнь, но она здесь, она пришла, чтобы мне не было скучно, и вот она сидит. Я стараюсь думать, что будет, когда она наконец уйдет и вся комната будет моей. Я буду слушать звонки трамваев с Литейного, буду воображать искры, которые сыплются в снег из-под вагонов, я буду думать о людях, которые в шубах и шапках идут домой и о которых мне так хочется узнать все, что можно и что нельзя. Я вытащу наконец засунутую под матрац книжку. Но она все не уходит, она предлагает мне чаю, котлетку и – верх ужаса, от которого я леденею, – почитать вслух. “Что это? У тебя ноги как лед!” – кричит она, но не уходит за грелкой, а зовет Дашу, которая и приносит мне завернутую в полотенце металлическую грелку, выгнутую, очевидно, в предвидении чьего-то очень круглого живота, и из которой всегда течет вода. Проходит тысячу лет, и она все сидит, пока из кухни не вырывается запах пирога с капустой. Звонит телефон. Освобождение! Все делается как-то мгновенно, и вот я одна в полутемной большой комнате, в туманном окне движется отблеск проплывающего фонаря. Это извозчик едет куда-то, везет кого-то, зачем-то, к кому-то… Я никогда, никогда не узнаю, кто он, куда едет, кто живет рядом, кто в эту минуту, не зная меня, вот так же думает обо мне, как я думаю о нем. Почему жизнь так огромна и прекрасна, главное – огромна, как мир, и столько во мне самой всего, еще больше, кажется, чем вокруг меня, что я не успею, не успею, протяните немножко, чтобы подольше, лет двадцать, тридцать… Нет, этого мало. Гадалка сказала: шестьдесят. Когда же это будет? Это, значит, будет в 1961 году. О, какое счастье, что это еще так далеко, так бесконечно далеко, как от Казани до Рязани, как от Рязани до Лебедяни, до Тьмутаракани… “Ты бредила уроком географии”, – сообщают мне, когда я открываю глаза. Пора мерить температуру.

К тому, что я всем сердцем ненавидела, относились елки, рождественские елки, с хлопушками, свечками, обвисающей с веток фольгой, – они были для меня символом гнезда. Я ненавидела бумажных ангелов с глупыми розовыми лицами, от хлопушек мне бывало скучно, ни один дурацкий колпак не налезал на мою голову (как позже не налезали шляпы). Свечи мерцали, ложно уверяя, что при них жить было лучше, чем при вольфрамовой лампочке, – а этому поверить было невозможно: я считала личными врагами людей, утверждавших это. Главное же, все это не имело для меня никакого смысла, кроме одного: в квартире вдруг оказывался центр, где надо было быть, вместо того чтобы быть свободной и одной, сидеть то на подоконнике под шторой, рассматривая на стекле морозные узоры (всегда прельщавшие аллитерацией), то у себя за столом, то

под столом, то на кухне, где раскладывался пасьянс “Могила Наполеона”, – словом, надо было сидеть и смотреть, как горят свечи, и делать вид, что любуешься ангелами и ждешь подарков (радость доставляли только неожиданные), то есть делать то, что, по моему тогдашнему пониманию, приводило взрослых в состояние совершенно непонятной и чем-то неприятной мне искусственной экзальтации, какая находила на этих людей также при чтении вслух Апухтина или при слушании цыганских романсов. Зато какое бывало счастье, когда эту мертвую, раздетую елку наконец уносили вон.

Экзальтации и ложной меланхолии я боялась пуще огня. Мне казалось, что ее слишком много кругом и она может-таки добраться до меня и донять меня, и тогда я погибла. А ее было много вокруг потому, что перед тем, как в двадцатых годах нашего века впервые вырвались наружу глубокие и важные внутренние тайны человека и люди объяснили сами себя, в начале века впервые бесстыдно вырвались наружу его лирические черты, и так как они были всеобщие, то они были не только дешевыми, но часто и пошлыми. Я помню мелодекламацию с рыданьем в голосе на слова Щепкиной-Куперник, я помню вариации на “Две гитары”, пропетые в нос и с полузакрытыми глазами, я помню портреты масляными красками светских дам, во весь рост, с кружевными оборками шлейфов, завивающихся вокруг ног, с лицами, выражающими меньше мысли, чем самые эти шлейфы, но зато еще большую томность. Я помню обложки журналов с усатыми мужчинами, расширенные ноздри Веры Холодной, женщин-змей и женщин-птиц, женщин-фей и женщин-львиц (прошу простить меня за эти рифмы: они в духе того времени), в которых уже мечтал превратиться кое-кто из моих сверстниц, но которые во мне возбуждали только оторопь. И, как обычно, перекидываясь в крайность то ли от инстинкта самосохранения, то ли после холодных рассуждений на эти темы с самой собой (было, конечно, и то и другое), я брала под сомнение вместе с аффектацией лиризма и самый лиризм, вместе с дурными стихами о лунной ночи и самую лунную ночь, безобидных соловьев и лебедей на озере – не только в поэзии, но и в действительности. Все эти “либестраумы”[4 - “Любовные мечты” (нем.).] для меня имели один и тот же привкус: привкус чего-то, что тронуто концом, что не переживет и первого удара, откуда бы он ни пришел, и помешает лично мне быть во всеоружии при первом столкновении с судьбой. Но либестраумы звучали повсюду, доставляя удивительное наслаждение нашим матерям, которые (ведь еще совсем тогда молодые) чувствовали, что это для них, о них, за них поднимается в мире флаг общедоступного лиризма. Они несомненно мечтали, что и мы вслед за ними вступим, как в разношенный башмак, во все эти романсы и нюансы, а уж наши дети окончательно благополучно устроятся среди них. Но мы отказывались пользоваться этими благами, вместо манной каши грызли

сызмальства черт знает что, ломая зубы и слыша очень часто где-то шелестевший упрек: неблагодарные, огрубевшие души, нечуткие, сухие, любят поэзию без размера, музыку без мелодии, живопись без настроения. Надо сказать правду: я брала под сомнение лет с двенадцати и диалог Наташи Ростовой с Соней в окне в ту ночь, когда князь Андрей ночевал в Отрадном, и прелесть Китти, и “божественную природу” человека, открывшуюся князю Андрею на Аустерлицком поле. Мне это казалось дымовой завесой, камуфляжем над жизнью: диалог Наташи и Сони находится в самом центре их либестраума, князь Андрей на Аустерлицком поле – поэтическая доза, впрыснутая Толстым в семейный роман, а Китти с первой минуты, вместе с ее “гнездом”, была мне более далекой, чем дикари с островов Полинезии.

Ни дымовой завесы над жизнью, ни эмоциональных обертонов религии (сумрак, лампада, свечи, панихида). Глубокое отвращение к ложному уюту божественного: для меня – стосвечовая лампочка, светящая мне прямо в раскрытую книгу, где все договорено, все досказано, ясный день, черная ночь – вот что я хотела. Без двусмысленных значений, без минорных импровизаций, подернутых флером взглядов, вздохов, намеков. Страшнее пушечного огня казались мне эти фата-морганы, за которыми ведь стояла и ждала меня собственная жизнь, которую я предвидела с настоящим пушечным огнем, действительно три раза прогремевшим надо мной; собственная борьба, где никто не посмеет заменить меня в деле, где я не уступлю своего места под огнем. Жизнь все больше становилась для меня реальностью, от которой я не собиралась прятаться ни за чью спину.

Всякий дуализм для меня болезнен. Моей природе противно всякое расщепление или раздвоение. Когда Ленин говорит о материи, противопоставляя ее энергии, когда Бердяев говорит о материальном начале (реакции) и духовном (революции), когда идеалисты-философы говорят о духе и плоти, меня, как фальшивая нота, коробят эти понятия. Моей заповедью была истина, что материя и есть энергия, и вся жизнь моя была примирением в себе самой противоречий: все разнообразные и часто противоположные черты во мне теперь слиты. Я давно уже не чувствую себя состоящей из двух половинок, я физически ощущаю, как по мне проходит не разрез, но шов. Что я сама есть шов. Что этим швом, пока я жива, что-то сошлось во мне, что-то спаялось, что я-то и есть в природе один из примеров спайки, соединения, слияния, гармонизации, что я живу недаром, но есть смысл в том, что я такая, какая есть: один из феноменов синтеза в мире антитез.

Я несу, как дар судьбы, то обстоятельство, что две крови – русская, северная, и армянская, южная, – слились во мне и во многом с детства обусловили меня. Эта противоположность, как и целый ряд других противоположностей и даже противоречий, которые я видела и знала в себе, постепенно перестали быть для меня причиной конфликтов: я стала ощущать их как соединение полярностей и сознательно стала радоваться себе как “шву”.

Дед мой со стороны отца, Иван Минаевич Берберов, был потомком тех безыменных армян, которые в силу сложного исторического процесса в середине восемнадцатого века оказались на южном берегу Крыма в крайне бедственном положении. Об этом Потемкин донес Екатерине. Она решила вывести этих людей из Крыма и дала им землю на берегу Дона, при впадении его в Азовское море, в непосредственной близости от казацких станиц и города Ростова, чтобы они могли построиться и начать новую жизнь, занимаясь торговлей и ремеслами. Это, конечно, соответствовало ее крымской политике. В центре городка Нахичевани (названного так в честь Нахичевани закавказского, старого армянского города) я помню перед армянским собором (а за ним стоял собор русский, фасадом на базарную площадь) огромный бронзовый памятник Екатерине с надписью: “Екатерине Второй – благодарные армяне”. Этот памятник в 1920 году местные власти своротили и выбросили на помойку, где он долго лежал вверх тормашками, а затем его нашли и перелили не то на пушку, не то на плуг. Теперь там, по слухам, стоит Карл Маркс.

Дела армян на новом месте пошли завидно хорошо. Деда Ивана Минаевича его отец (видимо, имевший средства) послал в конце 1850-х годов учиться медицине в Париж. На дагерротипе того времени он был изображен в цилиндре, с длинными волосами, в элегантном сюртуке, плаще и с тростью. Имена Шарко и Пастера, как, впрочем, и Гамбетты, носились в воздухе до конца дней деда (он умер в начале 1917 года). Из Парижа дед вернулся врачом, женился, имел семь сыновей и одну дочь и стал известен в округе как доктор-бессребреник, образованнейший из людей своего поколения, обитателей этого – не губернского и не уездного, но какого-то особого, не похожего на другие южнорусские центры, – городка.

Из семи его сыновей мой отец, Николай Иванович, был третьим. Все мальчики были постепенно посланы в Москву учиться в Лазаревском институте восточных языков. Там они зубрили наизусть: “Ты трус, ты раб, ты армянин” и “Бежали робкие грузины”, о чем позже вспоминали не без юмора. После Лазаревского института все постепенно выходили в университет. Меня всегда восхищала

в детстве та симметрия, с которой они каждые два года (так мне рассказывали) сдавали государственные экзамены и выходили в люди стройным рядом всевозможных профессий, словно на подбор: врач, адвокат, математик, журналист, банкир и т. д. И на семейной группе они стояли плечом к плечу: один в штатском, двое других в университетских мундирах, трое в курточках Лазаревского института и один – на коленях у бабушки, в кружевном воротничке, все, как нарочно, рослые, прямые, красивые, старшие – с черными бородами и огненными глазами, младшие – с серьезными лицами, большеглазые и мрачные.

Дедушка Иван Минаевич жил на другом конце России, и в нем все было противоположно сыну Обломова. Это был первый европеец, с которым я столкнулась в жизни. От парижской молодости у него осталась к этому времени только трость – в его сухой, выхоленной руке. Набалдашник был, как полагалось, из слоновой кости, и в нем была дырочка. Я иногда смотрела в эту дырочку и видела там Париж, вид Монмартрского холма, но, конечно, без Эйфелевой башни: это была палка, купленная у Шарвиля в 1861 году. Небо было синее, без единого облака, и купол Инвалидов и башни Нотр-Дам постепенно стали такими знакомыми. Я могла бы войти туда, в эту дырочку, как крошечная козявка, и остаться там. Но только окольными путями я добралась до этого города в конце концов, чтобы остаться в нем на целые четверть века.

Стоя у письменного стола, который в тот год приходился мне под подбородок, я осторожно перебирала медицинские журналы, газетные вырезки, карандаши, перья, конверты с заграничными марками, ручное зеркало в серебряной оправе. Дед любил его иметь под рукой, как и флакон замысловатых духов, которыми он, не стесняясь посторонних, и в том числе меня, время от времени душил свою белую, прямую, шелковую бороду, которая моим щекам казалась чем-то совсем не похожим на серо-зеленую, курчавую, жесткую бороду деда Ивана Дмитриевича, в которой иногда можно было найти крошки утром съеденного калача. Оба они, конечно, как все тогдашние деды, имели в себе нечто от Саваофа, но только русский дед был Саваоф в соединении с водяным, а армянский дед – Саваоф в соединении с Просперо.

В черном с иголочки сюртуке и белом атласном галстуке, надушенный, расчесанный, он появлялся к утреннему чаю и окидывал быстрым, до самой смерти острым взглядом стол, который ломился от сливок, пирожков, булочек, просто румяных, очень румяных и весьма сильно поджаренных, масла, икры паюсной и свежей в голубых маиловских коробках, кефали копченой, кефали

полукопченой, рыбца, лоснившегося розовой спинкой, балыка, ветчины такой и эдакой (выбранной не с кандачка), от яичницы, трещавшей на сковородке, блинчиков с творогом, вафель с вареньем, колбас, сыров со слезой и без, тех, которые пахли, и тех, которые не пахли, – он окидывал все это пронзительным взглядом и пил свой стакан чаю с лимоном и сухарем, так как приблизительно в это именно время у него начался, как говорилось в доме, “бзик” касательно того, что чем меньше есть, тем лучше. Тогда это было так ново, так непонятно, так шло вразрез со всем тем, что делалось на кухне, в кладовых, в погребах, что очень скоро весть о том, что доктор Б. советует вместо бефстроганова есть шесть виноградин и что сыновья его (среди которых был доктор) собираются везти его в Швейцарию и там лечить у знаменитого психиатра, начала внедряться в умы жителей города, где он практиковал, и практика его начала сильно страдать; правда, каждое утро из донских станиц и из нижнего города, лежащего на берегу Дона, продолжали приезжать больные: станичники, казаки, мещане, мелкие домовладельцы, хуторяне, но это все были русские, то есть люди сравнительно бедные и простые, в то время как “общество”, которому всю свою жизнь принадлежал дед, было общество армянское.

Жену его катали в кресле. Вспоминая этот дом и жизнь в нем, я теперь сильно сомневаюсь, чтобы бабушка была на самом деле в параличе: мне кажется, она просто переутомилась за свою долгую жизнь, ей все надоело, и она села в самокатящееся кресло и объявила, что с нее довольно. Так и за границу она ездила со своей верной прислужницей, все в том же кресле; она, вероятно, сознавала, что, если она встанет, иначе говоря выздоровеет, ей придется опять нянчить если уже не детей, то внуков, исполнять все дедушкины капризы, следить за кухаркой, кучером, экономкой, горничными, принимать гостей, кормить обедами сорок человек зараз, выписывать из Парижа туалеты, чествовать членов партии Дашнакцутюн, приезжающих гостить из Закавказья, входить в семейные, денежные и другие дела семи сыновей (из которых каждый жил по-своему и говорил, что к нему нельзя прикладывать общую мерку), заниматься родственниками, которые заполняли дом и изживали здесь свои бурные жизни. Бабушка нашла выход: она притворилась, что ее хватил паралич, и теперь жила в свое удовольствие.

Разницу двух пород я оценила очень рано: лет восьми я поняла, что происхожу из двух различных, хотя и не враждебных, миров. С одной стороны – люди, которые не только все делают как все, но и стараются быть как все: Ольга Дмитриевна, замученная “позором” и “скандалом” своей семейной жизни, о которой не говорится вслух, Алина, спрятавшая от всех десять лет собственной жизни. С армянской стороны был целый мир характеров своеобразных и жизней

и судеб оригинальнейших. Эта необщность, как я поняла позднее, была заложена в самих людях, в их жизненной энергии, в их могучих желаниях, в их постоянном сознании, что ничего не дается само, ничто не делается само и что каждый день есть особый день. У них была горячая кровь, сильные страсти, среди них были отъявленные картежники, срывавшие стотысячный банк в Купеческом клубе, и передовые люди, боровшиеся за идеи, им дорогие, именами которых были позже названы улицы городов свободной Армении (в 1917 году); среди них были женолюбы, донжуаны, которые, впрочем, могли пожертвовать свиданием с донной Анной ради свидания с Командором – чтобы поподробнее расспросить его о загробных делах. Они бушевали в жизни еще, может быть, и потому, что предки их не спали на боку под портретами царей при зажженной лампаде, но продвигались веками от Персидской границы к Месопотамской границе, по берегам Черного моря, чтобы возродиться у устья Дона и стать через сто лет аристократией города – денежной и интеллектуальной. И значит, в то самое время, когда Юрий без отчества, потомок Кара-Аула, получал свои земли, другой мой прапрапрадед, имя которого, как и других предков со стороны отца, не сохранилось, по профессии не то хлебопашец, не то брадобрей (судя по фамилии), а может быть, и фальшивомонетчик, получил свой угловой надел, который, после распланировки города несколько бедными на выдумки градостроителями, получил название Софийской улицы и 18-й линии.

В очень русской, очень православной, очень патриархальной семье брак моей матери с моим отцом был воспринят как удар, от которого оправились не скоро. Армянская вера отца казалась чем-то чужим, а сам он – почти иностранцем, южный темперамент внушал опасение; неизвестно откуда пришедший человек тем не менее не был отвергнут. Оба любили друг друга, и любили друг друга всю жизнь и не расставались никогда, пока не развела их смерть.

Если семья моей матери с трудом примирилась с тем, что она вышла замуж за “чужестранца”, то для семьи моего отца это было гораздо сложнее: принять в семью русскую, отцу иметь от нее русских детей – это считалось изменой Армении. Но, конечно, ни та, ни другая сторона запрета не наложила. Свадьба состоялась в январе 1900 года, а в августе следующего года (8-го числа) я родилась в том доме на Большой Морской[5 - На этой же улице, теперь Герцена, родился и Набоков, за два года и четыре месяца до этого.], который позже был переделан в Яхт-клуб и чей широкий стеклянный подъезд я до сих пор хорошо помню.

Как я ни старалась уговорить деда позволить мне сидеть в углу кабинета, когда он принимает больных, он не соглашался на это. Сколько я ни говорила ему, что у меня свое кресло у тверского деда, у которого от меня нет секретов ни с тимофеями, ни с саввами кузьмичами, он твердо говорил свое: “нет-нет” или “что за фантазии!”. Но однажды я спряталась за штору и слышала, как дед принимал двух больных: одна была женщина средних лет с непонятной для меня болезнью, другой был мальчик с воспалением уха. Я вышла из-за шторы сама полубольная, решив, что по крайней мере я получила урок: медицина выпадала из списка профессий, которые я то и дело пересматривала в уме, ища себе подходящую. Я и своих-то почек любить не могла, и интересоваться собственным средним ухом казалось мне совершенной бессмыслицей, а тут надо было говорить о чужих внутренностях. Меня наказали очень строго, объяснили, что визит к доктору есть секрет, охраняемый законом, и что я совершила преступление, за которое сажают в тюрьму. И мне вдруг страстно захотелось сесть в тюрьму, чтобы сейчас же убежать из нее на волю, доказав и себе, и другим, что я могу быть слепой, безрукой, безногой и преступной и все-таки жить, жить, жить!

Вместо тридцати восьми лошадей здесь было всего две, и их запрягал в дышло кучер Селифан, который был воплощением если не Саваофа, то Санта-Клауса, каким его знают дети Запада. Ему не надо было подкладывать подушек, он и так был толст, но он все-таки их подкладывал и сзади был похож на земной шар. Мне он вожжей не давал, а приказывал садиться в элегантную коляску, блестевшую каждой спицей, и так как лошади здесь были какие-то тонные, характером и даже видом напоминавшие ту, тверскую, бабушку, то я и не стремилась особенно водить с ними дружбу.

Я садилась рядом с дедом, и мы ехали кататься, и тут впервые в жизни мне хотелось быть чистой, нарядной и красивой. Последнее (как я понимала тогда) было, конечно, совершенно невозможно, но чистой и нарядной удавалось оставаться во все время катанья, когда дедушка, распушив бороду, опираясь обеими руками о палку с видом Парижа и надев блестящий цилиндр, который предварительно причесал изумрудной бархатной подушечкой, смотрел по сторонам и строго осуждал солому на мостовой в базарный день, яркую вывеску парикмахера с полуголой красавицей, бондаря, стучавшего слишком громко в своем сарае.

Из Закавказья к нему приезжали гостить писатели и поэты, публицисты, общественные деятели, члены партии Дашнакцутюн. Я не читала их, я не знала

их языка, я только умела распознавать две буквы армянского алфавита: Н и Б – метку на полотенцах и салфетках, которые мне казались знаками хоть и моего собственного, а все-таки загадочного мира. Пяти лет была у меня встреча с католикосом, главой армянской церкви. Он был весь лиловый, в лиловой рясе, с лиловой бородой, и его торжественно привезли в дом и посадили в углу гостиной. Мне было велено подойти к нему под благословение вместе с другими детьми – двоюродными братьями, из которых ближайший ко мне по возрасту сейчас – генерал советской авиации в отставке. Видя, что никто из детей не двигается, а только таращит глаза и переступает с ноги на ногу, и решив, что католикосу сидеть и ждать скучно, я, нисколько не чувствуя значительности минуты (и, как обычно, боясь потерять драгоценное время), пошла первая, подошла к нему и довольно развязно протянула ему руку для рукопожатия. Но он руки мне не дал, положил лиловую руку мне на голову, прочитал молитву (со знакомым восклицанием “тэр бохормя!”[6 - “Благословляю!” (арм.)]) и дал поцеловать свой огромный лиловый перстень, после чего я не знала: нужно ли отойти и дать место другим или можно поговорить с ним, и если поговорить, то на какую тему? Меня быстро убрали и выкинули на двор.

Этот двор, совершенно квадратный, казался тогда самым защищенным местом на свете: около кухни стояли ведра с отбросами, Селифан чистил сбрую или спал, сидя на лавке, подле него бродили собаки. В этом дворе в 1919 году убили инженера Магнера, квартиранта, “уплотненного” в дом, и над этим двором в те страшные ночи гражданской войны летали длинные, узкие снаряды и ухали, разрываясь неподалеку; но до этих ночей еще было далеко, о них ничего не было известно, будущее было скрыто так плотно и прочно, как только будущее может быть скрыто от человеческих глаз. Всякую тайну можно так или иначе узнать, можно выхватить ее из уст другого человека ласками или пытками, но тайна будущего спрятана, утаена от нас так, как будто никакого будущего и никакой тайны и нет. Да так оно и есть: будущее не лежит в запасе и не ждет нас, оно творится жизнью и нами самими. Оно возникает с каждым новым днем. Оно никем не предписано. И тогда тот погреб, где мы много лет спустя отсиживались и куда зарывали серьги и брошки покойной бабушки, был только самым обыкновенным погребом, где хранилась всякая снедь, которую дед называл ядом.

Окончив Московский университет по физико-математическому факультету, мой отец колебался, идти ли дальше по специальности или поступить на государственную службу. Он выбрал второе, уехал в Петербург и поступил в министерство финансов молодым помощником столоначальника. К 1917 году он оказался в чине статского советника чиновником особых поручений при

последнем министре финансов Барке и одним из незаметных специалистов по подоходному налогу, который царская Россия собиралась вводить в стране.

Дифференциалы и интегралы никогда не вязались с его обликом. А впрочем, быть может, я находилась тогда во власти старого предрассудка, что математика – наука сухая и математик – человек не от мира сего. Наше время кибернетики и электронных машин показало, как близка ко всему, чем мы живы, математика, но тогда я иначе воспринимала смысл наук и никак не могла понять, каким образом этот горячий, быстрый, живой человек мог иметь хоть что-либо общее с водой, натекающей из кранов в бассейны, или с пифагоровыми штанами, или с биномом Ньютона – ко всем этим вещам я в те годы не чувствовала никакого интереса.

Он никогда не был для меня олицетворением власти, силы, авторитета, воли, и потому я так любила его. Между тем, уж конечно, в нем не было ничего женственного и слабого, безвольного и вялого, он и теперь, когда я пишу о нем, кажется мне воплощением мужского и только мужского начала, и я нечасто в жизни встречала такого цельного в этом смысле человека среди людей не только моего, но даже и его поколения. Но в нем я не замечала попыток охранять меня, защищать меня, вести меня, направлять меня, и это-то и делало его для меня таким драгоценным. Женщины в моем детстве гораздо больше проявляли надо мной власть, указывали, что делать и что не делать, и часто – с лучшими намерениями – пытались взять меня под крылышко, а я боялась этого пуще всего, а с годами бежала и этого “крылышка”, и тепла, и заботы их – всего того, что обычно считается таким необходимым в начале всякой жизни. Я вижу отца рядом с собой, рука его в моей руке или моя – в его. Мы идем рядом, я делаю большие шаги или он делает маленькие, и мы говорим о чем-то, всегда существенном, всегда интересном, в равном удивлении перед миром и остальными людьми, идущими мимо нас.

Но он заражал меня своими слабостями, своими фобиями, которых у него было немало, и одной из них был страх воды. Он не любил жить у моря, смотреть на волны, слушать водопады, и с самых ранних лет этот страх перешел ко мне. Сесть в лодку было для него немыслимо, пароход был мучителен одним своим видом, и плеск реки или даже гладь озера заставляли его ускорять шаги и не оглядываться. Этому пришло позднее объяснение. Оно, конечно, было мне дано в детстве, но я начисто забыла его, и вот во сне, однажды, когда мне уже было за тридцать, я увидела гладь воды, прямо в нее садилось солнце, вечер был полон цветов, лета, прелести и мира, и все во мне отрицало страх воды, страх

этого голубого моря, но я не могла освободиться от него, и была скована ужасом, и понимала, что в данный час моей судьбы я ничего не могу поделать с этим страхом, что он со мной, во мне. Я говорю, что все это не может быть врожденным, а значит, должно быть побеждено. И кто-то, насмешливо и даже слегка презрительно поглядывая на меня, говорит, что ничего удивительного тут нет, что отец мой тонул в купальне, потеряв внезапно равновесие, когда ему было лет семнадцать, и с тех пор он болен водобоязнью. Это подсознание возвратило мне сном слышанное мною много лет тому назад объяснение, и я поняла, проснувшись, что мной самой указывалась дорога (как бывало в жизни не раз), путь, как победить что-то, что даже, в сущности, не было моим. Я вышла из этого страха много позже, и это оказалось одним из самых внутренне важных событий моей жизни, одной из ступеней к равновесию, которое мне далось через этот акт освобождения.

Отец был высок и худ, так худ, что благодаря недостающему дюйму в объеме груди его не взяли на военную службу. Военные были, впрочем, его второй фобией, у нас никогда не бывало в доме военных, и только уже в 1916 году, когда призвано было ополчение, я помню френчи и погоны на двух молодых его товарищах.

Я знала, что он любит женщин. Я знала, что он любит особый род женщин, который теперь, в наше время, исчез или почти исчез. Они должны были быть женщинами “света” и в то же время доступными, красивыми, веселыми и не слишком умными. Они должны были любить любовь. Эти женщины занимали его мысли, и он нравился им, в нем было, в полном соответствии с его мужественностью, все, что нравилось женщинам: сила в соединении с нежностью, сдержанность и мягкость при энергии; мне всегда казалось, что тот факт, что он страстно хотел иметь дочь, а не сына, был в гармонии с его природой; он искренне огорчался, когда видел, что я привожу в дом некрасивых подруг, и во мне самой он любил искать и находить женское начало, никогда не старался принизить или не заметить во мне значение женственности, но делал все, чтобы дать ей цвести. Я поняла в нем многое, когда сама однажды, лет двенадцати, пронеслась с ним по какому-то дачному бальному залу под гром штраусовского вальса. Никогда никто не танцевал так плавно, властно и самозабвенно, как мой отец.

В теплой куртке, в темно-красной феске с длинной черной шелковой кистью, с янтарными четками в руке, смотря то на меня, сидящую на полу у его ног, то на конец своей гаванской сигары, набухающей голубым тяжелым пеплом (и не

дай Бог уронить его!), он говорил глазами – и я тогда почувствовала впервые, что дайте мне выбрать человека среди тысячи людей, я выберу того, кто говорит глазами. Когда, как по небу облака, сами в себе законченные, легкие и прозрачные, проходят мысли, ясные мне без слов, рождаясь тут же и уплывая куда-то, и я знаю, что он хочет сказать, что он сейчас скажет мне. Я любила его глаза, любила его руки, его запах, где смешивалась сигара с крепким брокаровским одеколоном, любила его элегантную фигуру (которую он унаследовал от своего отца), когда в 1913 году он вернулся из Парижа в модном широком пальто и мягкой шляпе, которая тогда была новинкой среди котелков и цилиндров. Я любила его растерянность перед моей ранней самостоятельностью, его восторг в феврале 1917 года и медленное старение, ущерб энергии, в лишениях и преследованиях и, наконец, перед Второй мировой войной его короткую кинематографическую карьеру, когда на Невском в 1935 году к нему подошел режиссер Козинцев и сказал ему: “Нам нужен ваш типаж”. “Почему же мой? – спросил отец. – У меня нет ни опыта, ни таланта”. “Но у вас есть типаж, – был ответ, – с такой бородкой, и в крахмальном воротничке, и с такой походкой осталось всего два-три человека на весь Ленинград. Одного из них мы наняли вчера” (это был бывший камергер и балетоман Коврайский, чудом уцелевший с такой бородкой и в таком воротничке). И отец мой сыграл свою первую роль: бывшего человека, которого в конце концов приканчивают. За ней были другие. Гримироваться ему почти не приходилось.

В 1937 году где-то в грязной, вонючей улице около Севастопольского бульвара (много в Париже улиц нашего позора: Севастопольский бульвар, Аустерлицкий мост, авеню Малаков, бульвар Инкерман) я нашла небольшую комячейку, ведавшую показом советских лент, которые по причине их низкого качества и грубой пропаганды коммерчески во Франции не показывались. Мне сказали, что такой-то фильм пойдет там-то тогда-то, но что билета мне продать не могут, надо, чтобы я стала членом комячейки и уплатила годовой взнос. Я, не задумываясь, сейчас же стала членом комячейки, уплатила, что требовалось, и в назначенный день сидела в большом темном зале, в числе других членов комячейки, восторженно настроенных. Дело на экране волновало зрителей. Оно заключалось в том, что некий контрреволюционный гад, директор Госбанка, саботажник и агент иностранной державы, портил Ленину восстановление российского бюджета и Ленин послал в Госбанк матроса Балтфлота, который хотя и не умел ни читать, ни писать, но в три дня восстановил финансовый баланс России (дело происходило в 1918 году). Директор банка был арестован вместе со своими приспешниками, и на экране и в зале толпа яростно кричала: “Бей его! Дай ему в зубы! Кроши врагов рабочего класса!” Мой отец в последний момент успел вылить банку чернил на открытую страницу гроссбуха, доказав,

что до последнего вздоха он будет вредить делу Ленина. Его повели к выходу. В воротах Госбанка ему дали минуту, чтобы остановиться, взглянуть на Екатерининский канал, на петербургское небо, мутившееся дождем, и прямо на меня, сидящую в парижском зале. Глаза наши встретились. Его увели под конвоем. И больше я его никогда не видела. Но несколько слов, произнесенных им, донесли до меня его голос, его улыбку, быстрый, говорящий словами взгляд его карих глаз. После пятнадцати лет разлуки какая это была встреча! Не всем на роду выпадает счастье увидеться после такой разлуки и перед тем, как расстаться уже навеки!

Небольшим усилием воображения я могу еще раз увидеть его, но уже так, что он меня не видит. Я вижу Ленинград зимой 1941–1942 года, я вижу улицу Салтыкова-Щедрина (бывшую Кирочную), громадный проходной двор, сквозной, выходящий на Манежный. Я вижу моего отца, теперь совсем маленького, худенького, в глубоком снегу, белого, как этот снег, с кастрюлькой в руке, идущего к невской проруби, скользящего по льду улицы Чернышевского (когда-то Воскресенского проспекта); я вижу, как он возвращается и топит железную печку, медленно, с усилием выламывая паркет в темноте вымершей квартиры. Я вижу потом, как их обоих, мою мать и отца, эвакуируют. Она умирает в пути. Он выживает. И где-то в провинции его оставляют – у чужих людей, в чужом месте, совершенно одного. Где? В Оренбурге? Или на Минеральных Водах? Или в Алма-Ате? И там он живет несколько месяцев и умирает. И единственное место, где он живет сейчас, это моя память.

Эти видения петербургского проходного двора, или дедовского, провинциального, где лежал, в нижнем белье, зарубленный (или пристреленный) инженер Магнер, или еще того двора, где жил мой отец в последние месяцы своей жизни и который я никогда не найду, проходят в уме моем как места, истинную роль которых никто не мог угадать – ни гадалки, ни астрологи, ни поэты такими видениями не торгуют. Стоят дома, где из прошлого делается будущее, стоят дворы, где оно вяжется. В первом граммофоне рычит голос Шаляпина, звонит первый телефон, первая электрическая лампочка сияет над крыльцом дома, и первый автомобиль стоит у подъезда, чтобы везти нас на какое-то поле, смотреть полет первого биплана. Теплый дом, ненавистный мне инкубатор, выращивает людей, чтобы выпустить их в стихию войн, революций, осад, бомбежек, лагерей и расстрелов, в стихию атомных бомб. Мое поколение – первое, которое может не умереть, но рассыпаться в пыль. И эшелоны, уходящие за полярный круг, и корабли, тонущие в океанах, и голодная смерть на городской скамейке чужой столицы – все предстоит всем. Ничто не предписано, все возможно.

В связи с этим я вспоминаю один свой сон о Достоевском. Я играю в шахматы с кем-то, в комнате много народу. Достоевский стоит около меня и внимательно смотрит на доску. И я говорю ему: “Вот, Федор Михайлович, здесь в шахматах можно точно все предвидеть и учесть: если шагнем сюда, то все двадцать пять или тридцать пять ходов до самого конца игры заранее предрешены и известны. Если шагнем туда – опять целая цепь причин и следствий разворачивается и выхода из нее нет. А вот в жизни человеческой даже вы не можете предвидеть, что случится: дадут вам кучу данных о двух людях, а вы все-таки не скажете нам сегодня, что они будут делать – вместе или порознь – завтра. Закон причины и следствия не действует, когда речь идет о людях”.

Он улыбается, щурит один глаз, молчит с минуту и потом говорит:

– Да, это, пожалуй, так. Двадцать пять ходов или тридцать пять, их, конечно, можно предвидеть, но только при том условии, что потолок не обвалится во время игры или одного из играющих не хватит кондратий. Если это случится, то шахматы станут вроде жизни, то есть перейдут в измерение, где нет ни социальных, ни биологических законов, ни возможности угадать самому изощренному уму “выкройку” будущего.

– Как нет социальных и биологических законов? Разве есть такое место на свете?

– Встреча двух людей и творчество, – говорит он. – Там эти законы недействительны.

Я вижу, как мой противник кушает мою пешку. И вдруг замечаю, что у Достоевского изящные, холеные, маленькие руки.

Если я когда-либо играла в куклы, то в не совсем обычные.

Это были все мальчики, и они все были либо больные, либо калеки. Их звали Адольф, Альфред, Альберт, Артур и т. д. Увлечение было сильным, но очень коротким, оно продолжалось, вероятно, всего несколько месяцев, и откуда оно пришло, я не знаю. Все эти бледные, немые мальчики, забинтованные, укрытые одеяльцами, лежали закутанные, полуживые, в то время как щекастые куклы-девочки, расфуфыренные, в желтых париках, говорили “мама-папа”

и совершенно не занимали меня. Но об этом увлечении я очень скоро забыла, и когда поступила в гимназию, то от кукол и следа не осталось, остался только небольшой след в убеждении, что мальчики несчастнее девочек, что они беззащитнее, что мужчины – хрупкие существа, требующие осторожного обращения, – один из тех предрассудков, которых так много бывает в детстве и юности и который уходит своими корнями в какие-то, вероятно, подслушанные суждения старших о том, что мужчин на свете меньше и жизнь их короче.

Опять возвращаюсь к этому образу, к теме соединения противоположностей, одной из самых важных тем моей внутренней жизни. В людях вокруг меня, в книгах и в себе самой я видела, как часто человеческая личность разорвана, разрезана, рассечена надвое, и считала это одним из самых роковых явлений человеческой судьбы и одной из тех загадок, которые заданы человеку. Внутри себя, как и в других людях, я видела, как и где проходит это разделение, это раздвоение (“трещина, которая расколет меня пополам и убьет”), непримиримые противоречия – сначала молодые и острые, потом – зрелые и тяжелые, с годами делающиеся все опаснее, все глубже, давящие, мешающие свободе, и покою, и строю, и ладу, без победы над которыми жизнь, когда пойдет к концу, обозначится как не имеющая истинного смысла: ни смысла познания самого себя, ни смысла “устройства”, “гармонизации” себя. Я знаю, что дни отчаяния, какие мне пришлось пережить в жизни, всегда были так или иначе связаны с этим ощущением раздвоения, ощущением фальшивой ноты, звенящей в моем “финальном аккорде”, связаны с мыслью о необходимости стройности – единственного достоинства человека в себе самом, не того человеческого достоинства, которое существует в общении индивидуума с себе подобными, но того, которое есть самый важный элемент в человеке по отношению к самому себе. И настал день – как почти всегда бывало в моей жизни, внезапный день (и потому, может быть, я больше верю в ход эволюции на земле толчками, чем плавными волнами), – настал день, и передо мной вдруг поднялся туман, и я поняла, что то, что я считала разъединением, было соединением, что противоречия во мне были организованной гармонией моего индивидуального контрапункта; что якобы рассеченная надвое личность есть личность, которая в себе, в замкнутом своем бытийстве объединяет в едином процессе два полюса. Это было огромным днем моей жизни, концом сомнений и началом покоя и меры в познании себя и устроении себя.

В историческом плане, как я теперь вижу, это признание шва, признание самой себя швом особенно плодотворно: оно дает ответ на жизнь моего поколения, существующего в двух мирах: одном, идущем к концу, и другом – едва начинающемся, оно дает покой и полноту существования в раздробленном,

искаженном и беспокойном мире. На стыке старого и нового – умирания одной эпохи и рождения другой, которое продолжается уже лет пятьдесят, – мы сливаем обе и в некотором смысле даже чувствуем себя привилегированным сословием благодаря тому, что одинаково вольно дышим и в старом, и в новом, то есть способны к такому дыханию. В плане природном мы суть некие феномены этой гармонии. В плане же символическом мы, вероятно, будем впоследствии значить, как знак моста или звена. В этом последнем смысле я вижу, что даже сны мои находятся в соответствии с мышлением наяву и подсознание отвечает моему сознанию, как вечно бодрствующему элементу во мне, которому подает голос его тайный, скрытый, загадочный друг и советник.

Снежные петербургские зимы и ранние вечера на огромном диване, казавшемся мне плашкоутом, на котором можно пуститься в далекое плавание (он потом вошел в первую часть моего романа “Без заката”), были моей детской декорацией. Я особенно помню зимы в первые годы гимназии (я поступила восьми лет в младший приготовительный класс), когда я жила уже не только среди взрослых, но и среди таких же девочек, как я сама. Некоторых я называла подругами, и что-то священное и серьезное было для меня в этом слове, к дружбе меня всегда влекло, влечет и теперь, и я была всю жизнь безмерно счастлива в дружбе. Подруги были разные, сочетать их между собой было невероятно трудно, и я через некоторое время отчаялась достичь какого-либо порядка в этом направлении. Особенно одна из них, Наташа фан-дер-Флит, правнучка декабриста Ивашева, не подходила ни под какую рубрику. Она жила в деревянном доме на Васильевском острове, где все было так непохоже на нашу городскую “приличную” квартиру на улице Жуковского, 6. Там три поколения жили вместе, и среди них – две замечательные бабушки. Одна из них была невесткой сосланного в Сибирь декабриста Василия Петровича Ивашева и жены его, урожденной Камиллы Ледантю (одной из трех француженок, воспетых Некрасовым в “Русских женщинах”), и двоюродной сестрой писателя Григоровича (мать Григоровича была сестрой Камиллы, Сидония Петровна). Другая бабушка была Пелагея Николаевна, в замужестве фан-дер-Флит (урожденная Пыпина), о которой Набоков в “Даре” написал, что у нее была “верная, прочная, в эвклидовых складках юбка”, за которую “держался сын Чернышевского”. Мать Наташи была учительницей в школе, а отец был тем самым Константином Петровичем фан-дер-Флитом, знакомство с которым сыграло такую роль в творчестве Алексея Н. Толстого (К.П. был сыном Пелагеи Николаевны). В доме скрипели полы и не было горничной в кружевном фартуке и накрахмаленной наколке, как у нас, а было много книг, маленькие оконца, выходившие на тихий двор, и тишина 6-й линии возле Среднего проспекта. Светловолосая голубоглазая Наташа, позже в трагических обстоятельствах

потерявшая мужа, была внутренне чем-то очень похожа на меня, мы хорошо понимали друг друга, говорили о выборе профессии, о тайнах жизни, о декабристах, и обе дрожали от внутреннего нетерпения при мысли о будущем, которое неслось на нас с недостаточной скоростью и силой (так мы считали), словно были мы обе два паруса, которые рвутся в море, а ветра все нет, чтобы надуть их и умчать.

И было другое место: огромная казенная квартира в самом здании Николаевского вокзала, принадлежавшая директору железной дороги, с окнами на шумную площадь, похожую на карусель, с только что недавно открытым тогда памятником Александру Третьему, где жила, найденная на путях железной дороги и усыновленная директором дороги, девочка. Директор и его жена казались мне совсем древними, они были людьми сановными и приходились родней моей тверской бабушке – я сейчас же распознала эту породу. Там были приемные залы, и гостиные анфиладой, и бальный зал, и атласные кресла в детской, в которых сидели скучные куклы в атласных платьях и кружевных панталонах. Но тихую, бледную Люсю, мою однолетку, я любила именно за тайну ее рождения, и однажды, когда мы сидели, обнявшись, в кукольном доме, настоящем, куда можно было войти и где стояла миниатюрная мебель, игрушечный рояль и даже крошечная швейная машинка, я нагнулась к ее уху и спросила ее, знает ли она, кто она и откуда. И она тоже очень тихо ответила мне на ухо, что она этого не знает и никогда не узнает. Ее позже сослали на Воркуту, на лесоповал.

Одно лето было прожито не в имении тверского деда, но на берегу Финского залива, моря, о котором я до сих пор имела очень смутное понятие. Я мечтала о нем, ждала его, и оно не обмануло меня, но я боялась войти в него, это был первый раз, когда я остро ощутила в себе отцовскую водобоязнь. Я забегала в тихие волны до колен, но дальше идти не могла, схваченная безотчетным ужасом и даже тоской. Вечерами солнце садилось в самую его середину, и это считалось красивым, но тронуть я ничего не могла, словно все, что было в мире страшного, соединялось для меня в морской глади, все, чего следовало бояться и чего я не боялась: темная комната, привидения, ночные воры, всадник без головы, черт на картинке, нищий у ворот с красной культяпкой – все это для меня сходилось в стихии воды.

И сосновый лес, весь сухой и душистый, так близко около нашей дачи, сколоченной из этих же сосен, был мне гораздо милее. Там часто мы бродили вдвоем, лупоглазый, близорукий мальчик Юра, носивший такие толстые очки,

что его глаза, бывшие и без того сильно навыкате, казались огромными, неподвижными и очень сердитыми, и я. Мне в голову не приходило, что у него были какие-то первые любовные чувства, какие-то мучения и радости, которым причиной была я. Он рассказал мне о них в 1921 году, когда уезжал на какое-то строительство в Архангельск, откуда он не вернулся.

Я думаю, что писание стихов пришло ко мне совершенно естественно, от переполнения души, как у ранних романтиков. Если я когда-нибудь была романтиком, то именно в эти первые годы после того, как профессия была наконец выбрана. Начало, впрочем, было довольно позорно: восхитившись стихотворением Лермонтова “В минуту жизни трудную”, я почувствовала, что расстаться с этим восторгом не могу, взяла чистую тетрадку, надписала на ней “Стихотворения” и аккуратно переписала в нее все двенадцать строчек. Оно привело меня в восхищение своей мелодией, и тут, девяти лет, я бессознательно почувствовала то единство формы и содержания, о котором люди до сих пор еще не перестали спорить. Содержание, если вспомнить меня ребенком, было мне совершенно чуждо: молитвы я знала, какие знать полагается, но они никогда не были для меня чудными, а святая прелесть чего-либо была совершенно непонятна. Но что это были за звуки! Минуты были трудные, и вместе с тем они все-таки были чудные, потому что в них чудной была грусть, которая играла в их “у”. Созвучие живых слов пело и искрилось у меня в голове, и то, что Лермонтов признавался, что что-то в жизни было для него непонятно (как и мне самой), трогало меня до слез; и вместо того, чтобы плакать от сомнений, оказывается, можно было плакать после того, как их разрешишь, а “легко-легко” – это я уже знала хорошо, “легко-легко” я умела чувствовать давно. И вот вся эта вдохновенная красота поселилась во мне, и я чувствовала, что “твержу наизусть” уже не молитву, а самого Лермонтова, с таким же чувством полноты и счастья, с каким он “твердил наизусть” какую-то молитву. Получался круг, где мы были с Лермонтовым вместе, – блаженный круг! Оказались позже и другие…

– Да это плагиат! – сказал отец, когда я похвасталась тетрадкой, и сейчас же объяснил мне это трудное слово. Но я чувствовала все совсем по-иному. Я могла пойти на небольшую уступку, в крайнем случае признать факт, что написали стихи мы с Лермонтовым вместе.

В то лето я впервые услышала имя Бальмонта. Старшая сестра Юры (погибшая во время осады Ленинграда) мелодекламировала “Умирающего лебедя”, которого я не понимала, потому что совершенно темным казалось мне, чтобы птица могла говорить со своим прошедшим и видеть правду – точно Лев Толстой.

С Васильевского острова донеслись ко мне “Свечечки да вербочки”, к которым я осталась равнодушна, зато, прочитав “Кавказского пленника”, я помешалась на посвящении к нему. Это опять было что-то, что имело отношение ко мне самой:

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,

И шепот клеветы внимал со всех сторон, —

что-то здесь действовало прямым путем на меня, несправедливо наказанную, и, стоя в углу и колупая обои, я твердила:

И бури надо мной свирепость утомили,

Я в мирной пристани богов благословил, —

причем я понимала это так, что богов относилось к пристани и что я благословил вообще все на свете, очутившись в этой божественной пристани богов. Остальное же – “любви холодный сон” и “кинжал измены хладной” – действовало опять-таки совершенно заумно, просто звуками, напряжением и очарованием пауз.

Мою мать я любила – и не любила, часто разлюбляя ее и потом опять влюбляясь в нее. Я начала судить ее гораздо раньше, чем начала судить отца. В колебаниях моей любви к ней виноват был тот протест, который очень рано проснулся во мне по отношению к ней. Я видела ее достоинства как бы издали, а под рукой был вечный протест, автоматический, как условный рефлекс. Я помню борьбу, постоянное свое “нет” на все, что исходило от нее, и в этой борьбе, в этом многолетнем, непрерывном поединке не оказалось места ничему другому: ни ласке, ни пониманию, ни прощению, ни согласию. Все, что шло от нее, вызывало во мне настороженность, вооружение всех сил, словно поднималась внутри меня щетина ежа, или внешне я окрашивалась в защитный цвет, как хамелеон, или вся напрягалась, как тигр, готовый к нападению другого тигра. Она была человеком своего времени, того времени, когда воспитание, условности света, предрассудки коверкали женщин, когда считалось самым важным в жизни казаться не тем, кто ты на самом деле, говорить одним голосом с детьми, другим с прислугой, третьим с гостями, четвертым с приказчиком в магазине, пятым с мужчиной, которому нравишься. Голоса менялись в зависимости от окружения. Женщины того времени, якобы обученные совершенно нежизненной

роли жен и матерей (разумеется, по-настоящему ни тому, ни другому), жили только для того, чтобы закрыть, утаить, замаскировать в себе что-то живое, и это что-то в конце концов бывало убито, задавленное твердыми правилами поведения. Она была одновременно поколения и чеховской “Чайки”, и Доры Бриллиант, поколения, из которого вышло столько наших женщин, освободившихся из рамки искусственной жизни, тепличной, мимозной психологии. Они родились в начале восьмидесятых годов, и многие из них, не сделав настоящего свободного шага и внешне не освободившись, освободились внутренне – там где-то из кокона вылетела бабочка. Вопрос здесь не в устройстве ими личной жизни, но в осознании ими себя и своего места в окружающем мире – такие женщины были заметны в годы моего детства даже в светских гостиных. Сначала открывались лазейки, потом широко распахнулись двери (наглухо запертые в эпоху королевы Виктории и бабушки Ольги Дмитриевны), и не талант был нужен, а лишь желание принять новый век и стать человеком нового века. Мать моя не умела и не хотела этого сделать, и этого я долго не могла ей простить.

Мне казалось в те годы, что все в ней было не совсем настоящее. А где же было настоящее? Задавленное твердыми правилами поведения, пустыми формами общежития, к тому моменту, когда я начала сознательно жить (в восемь-девять лет), оно почти исчезло, жива была только внешняя форма жестов, взглядов, одежды, походки, суеверий и запретов, натянутых улыбок, общих мнений, неподвижной и беззвучной души. Может быть, не кто иной, как я, и только я, сделала ее такой? Страх, что в доме у нее (выйдя из нее) растет что-то чужое, новое, враждебное, далекое? Она ведь не могла не чувствовать, как далеко ушла она от своей матери (вернее, не ушла, но жизнь увела ее), как далеко увело ее от собственной бабки и прабабки, и, может быть, предчувствовала иногда, куда мы собираемся шагнуть и что готовимся разрушить? И страх, и недоумение перед нашим будущим, страх разрыва не меня с ней, а разрыва двух наших поколений, разлома внутри нашего класса и перерыв нашей общей истории, предчувствие распадения их незыблемой вселенной сделали ее такой? А в альбоме была ее фотография: на ней ей было шестнадцать лет, она была легка, стройна, изящна, с локонами над лбом, с живыми озорными глазами. Как будто всю ее, как ноги тогдашних китаянок, стиснули, чтобы она не росла, как будто кто-то приструнил ее раз и навсегда, пригрозил ей, что мир развалится, если она, и только она, не поддержит то, на чем он стоит. И ее красота приняла сухой и строгий оттенок, ее губы стали тоньше, голос громче, движения однообразней, и серые глаза, смотревшие на старой фотографии так лукаво, стали неподвижны, словно остановленные скучной заботой: быть как все. А мир королевы Виктории, Франца-Иосифа и Александра Третьего развалился все

равно!

Гимназия, в которую я поступила, была одна из тех передовых, которые начали появляться в Петербурге после 1905 года. Тут дело не обошлось без советов с Васильевского острова – этот выбор шел оттуда, и мать поддалась ему. Спартанство было ее законом, и, как и многие женщины того времени, она боялась снобизма. О том, чтобы отдать меня в модную гимназию, одну из тех, где учились мои двоюродные сестры, никогда не могло быть и речи. Так я попала к М.С. Михельсон. Отец ее, старенький, подслеповатый Сем. Ал., ходивший в вицмундире, автор учебника арифметики, преподавал арифметику; сестра ее, В.С., жена профессора К. (впоследствии ликвидированного за уклоны), – французский, другая сестра – немецкий, жена брата – пение. (С этим братом я дружила в Париже, он перед смертью все беспокоился, что не узнает, чем кончится царствование Сталина, – это были его последние слова.) Другой брат был профессором Технологического института и нашим инспектором. Это была семья педагогов, и в первые годы, когда гимназия только что открылась и помещалась в двух смежных квартирах на Владимирском проспекте, учение носило несколько семейный характер. Но уже через два-три года все изменилось: состав преподавателей был отличный, и родственники М.С. постепенно исчезли с горизонта.

Гимназия очень медленно вбирала меня в себя. Несмотря на то что с первого дня мне все там очень понравилось, в первые три года моего учения там ни само это учение, ни подруги, ни учителя не играли первенствующего значения в моей жизни. Все было интересно, все занимало меня, но не больше, чем то, что делалось дома или летом на даче, и гораздо меньше, конечно, чем то, что делалось во мне самой. После кражи из Лермонтова я стала самостоятельно писать стихи. Они имели два свойства, присущие одинаково стихам детским и стихам скверным: стук метронома и щелканье рифмы. Этим я вполне удовлетворялась: мне было десять лет. Как часто этим удовлетворяются взрослые люди: тра-та, тра-та, тра-та – есть? мочь – ночь, белый – смелый – есть? Ну, значит, это стихи. Секрет бывает утерян, секрет бывает не найден. Но кое-кто думает, что никакого секрета вообще нет.

Профессия теперь была выбрана. Помогли в последнюю минуту музы. Их было девять. О них я прочла в чудной книжке по мифологии. Выбор мой сузился. Я не спала ночь, и утром, когда поднялась температура, был вызван доктор. Я-то знала, что это не корь! Я-то знала, что это не свинка! Но я никому ничего не сказала. И не поспав вторую ночь, я утром в последний раз перечитала длинный

реестр, составленный прошлым летом, который я всегда носила с собой, перечитала, и, уверившись наконец в том, что у меня нет ни к рисованию, ни к трагедии никаких способностей, я сделала свой выбор. Я разорвала реестр на мелкие кусочки, бросила их в весело трещавшую печку, и началась та vita nuova[7 - Новая жизнь (итал.).], по которой я так томилась.

Это был детский кризис, который столько значил для меня. Теперь я знала, что мне надо делать, что я хочу делать. Теперь, когда начиналось вечерами “переполнение души”, я уже знала, что надо ему поддаваться, и стук метронома и щелканье рифм целыми днями трещали у меня в мозгу и заползали в сны, дикий вел за собой великий, глубокий вел одинокий, и легкой поступью шли мне навстречу хореи и ямбы, когда я сидела в углу зеленого плашкоута и смотрела в синюю ледяную петербургскую ночь, где начиналась улица, где начинался город, Россия, мир и вся Вселенная. И где мне уже не было обратного хода.

Да, я уже понимала в то время, что обратного хода мне нет, и для себя самой я была центром Вселенной, как человечество на заре человечества. Но вот прошли годы и научили меня видеть мир как сферу с радиусом, равным бесконечности, с центром в каждой точке этой сферы. И я опять оказываюсь в этом смысле центром его, как каждый вокруг меня, потому что точкам нет конца и сфера вмещает все – и мир Евклида, и мир Эйнштейна, и все миры, какие придут им на смену. Но тогда, в те вечера, когда падал снег, когда замерзали окна, когда переполнялась душа ожиданиями, которые были в атмосфере тех лет, во мне сквозь детские стихи начинала звучать первая музыка настоящей жизни, воли к жизни, воли к познанию себя, серьезностью и величием своим заставлявшая меня содрогаться. Всем моим тогдашним физическим телом я помню эти содрогания. Я в них росла. И когда я переживала их – и это мне сейчас всего дороже, – торжественность, ответственность и неповторимость тех минут была мне ясна, и я слышала толчками как бы собственное прорастание в будущее.

А рядом с этим шло все еще очень детское, домашнее и школьное существование, где все решительно было как у всех: сегодня созорничать, завтра увильнуть от урока, послезавтра прилгнуть, хвастнуть, потом разбить и не сказать, украсть вкусное из буфета и аккуратно замести следы и даже какие-то “подпольные” ощущения, свойственные детям: детское подполье, особое в своем уродстве, было мне хорошо знакомо, – словом, все было так, как у всех детей, за исключением разве уж совсем примерных, с которыми, однако, мне в жизни встретиться не удалось.

В третью зиму (я была в первом классе) случилось одно происшествие, после которого моей матери довольно долго пришлось приходить в себя: я предложила одной подруге обменяться родителями. Я заметила, что за ней после уроков приходит мать с маленьким братом, и эта мать мне чем-то понравилась. Нравилось тоже, что отец ее писал в газетах. Я сказала ей, что собираюсь, когда вырасту, тоже писать в газетах. Особенно же мне понравилось то, что у нее дома были еще сестры. Я объяснила ей, что будет очень, очень интересно, если на время перемениться родителями: она поживет вместо меня у нас, а я – у нее. Скажем: месяц. А потом мы опять переедем куда-нибудь в третье место. Так мы больше узнаем о жизни, сказала я, скорее вырастем, а то если все сидеть годами с одними и теми же родителями, то ничему не научишься и ничего не узнаешь.

Она оторопело посмотрела на меня и вдруг захныкала. Я пожала плечами, больно дернула ее за косичку и отошла. Эта мысль побольше узнать пришла мне в голову еще летом, когда Даша сказала про одну знакомую кухарку, что она нигде не заживается, меняет господ каждый год и оттого такая “бывалая”. Я решила как можно скорее тоже сделаться “бывалой”.

На следующий день на перемене я заметила, что кое-кто с любопытством посматривает на меня. Пришли три большие девочки из пятого класса, им было лет по четырнадцати. Окружили меня:

– Ты что, найденная? Расскажи…

Нет, я не была найденышем, а впрочем… кто его знает?

– Тебя что, дома порют?

Нет, меня не пороли… А впрочем, был один случай, только один, кажется: я, лет пяти, сорвала с груди немки-бонны часики вместе с мясом, как говорится, и брякнула их об пол. Отец, схватив меня одной рукой за поясок, отнес в спальню, бросил ничком на кровать, задрал платьице и своей собственной ночной туфлей… Да что об этом вспоминать! Я переминалась с ноги на ногу.

– А почему ты именно Тусю выбрала?

Я знала, почему именно я выбрала Тусю: я всегда хотела иметь сестер и братьев для того, чтобы они оттянули от меня внимание. Мне казалось: больше свободы, больше одиночества, меньше гнездышка, меньше крылышка, где пусть они будут сидеть, не я.

– Значит, ты хочешь кочевать по чужим родителям?

Я даже облизнулась от удовольствия при этой мысли.

– Ну подожди, попадет тебе от Марьсеменны.

На следующий день мою мать вызвала к себе М.С. Михельсон, до которой дошло мое странное поведение. Она решила выяснить, истязают ли меня дома.

Мать вернулась перед обедом заплаканная. Я поняла, что такое “позор”, “опозориться”, “опозорить собственную мать”, “покрыть позором семью”. Это был тяжелый день моей жизни, и я даже мечтала умереть. Я умоляла позволить мне хотя бы три дня посидеть дома, пока там все забудется, но на следующее утро меня выпроводили из дому.

Долго еще приходили из старших классов смотреть на меня. Некоторым отчасти понравился мой план, они его обсуждали. Обсуждали и меня. Кое-кто отвернулся от меня, приготовишки боялись меня. А когда “позор” прошел и осталась только память о моей дерзости, я стала чувствовать легкий ореол вокруг себя, и хотя это было приятное чувство, но мне все-таки продолжало быть стыдно до самого лета.

Однажды во время рождественских каникул, по сугробам и в грохоте скребущих снег поскребков, мы отправились с отцом в одну столярную мастерскую покупать зачем-то нужный в гостиную столик маркетри. Там, в гостиной, стоял нотный шкафик с инкрустациями, и я, только утром узнав, что это называется маркетри, носилась с этим словом и не чувствовала под собой ног от радости, что отец берет меня с собой. Мы пошли – уже не за руку, а под руку; мы пришли к столяру, человеку пожилому и степенному, и отец довольно подробно обсуждал вопросы “маркетри” и “булля” (о котором я не имела ни малейшего понятия). Выходя во двор, я сказала отцу, немножко ревнуя его к столяру, с которым ему было, видимо, интереснее, чем со мной:

– Ты с ним говоришь о маркетри, а он, наверное, и не знает, что такое маркетри.

Положительно, произнести это слово уже доставляло мне неизъяснимое заумное удовольствие, от которого я не могла удержаться.

Столяр, сняв картуз, сказал тихим и вежливым голосом за моей спиной:

– Я уже тогда знал, что такое маркетри, барышня, когда вас на свете не было.

Мне показалось, что земля заколебалась под моими ногами, и я, с надеждой провалиться в нее, замедлила шаги, но, к сожалению, это была иллюзия.
Я взглянула на отца. Он спокойно смотрел в сторону.

– Так тебе и надо, – сказал он холодно. – Спасибо, Трофимов.

И мы ушли. Я не знала, куда мне смотреть, я хотела вернуться и просить у столяра прощения.

– Ну, довольно глупостей, – сказал отец, – ты не только необразованна и невоспитанна, но еще вдобавок и сентиментальна.

Я пришла домой убитая. Мне и теперь совестно думать, что это случилось уже тогда, когда в гимназии ставились мои пьесы (совершенно не помню, о чем они были, только помню, что они были в стихах), когда громадным большинством класса (и мною) переживалось дело Бейлиса, когда читался “Ответ Синоду”.

В то утро, когда оправдали Бейлиса (в 1913 году), я стояла в раздевалке и смотрела, как мои две подруги, Ляля и Лида, обливаясь слезами радости, обнимали друг друга. Я на минуту почувствовала себя отрезанной от них: у них была общая радость, а я не участвовала в ней. Растерянно я стояла у вешалки, не двигаясь, не решаясь уйти и остаться окончательно одной и боясь остаться, – словно я со стороны смотрю на что-то, куда меня не принимают. И вдруг они расцепились, увидели меня и бросились ко мне, схватили меня, и мы все три крепко и долго обнялись, с совершенно мокрыми лицами.

Ляля Зейлигер была дочерью известного петербургского адвоката, члена кадетской партии, в доме которого бывал весь цвет петербургской

интеллигенции, политической и артистической. В огромной квартире на Надеждинской улице мы обыкновенно играли в кабинете Филиппа Николаевича, когда его не бывало дома, – шесть окон смотрели на улицу. Стены были уставлены книгами, на толстых коврах лежали медвежьи шкуры, и мы строили из них пещеры, где сидели подолгу и разговаривали о всевозможных наших тайнах, которых к этому времени было уже довольно много. Иногда я оставалась обедать и тогда робела в присутствии Лялиной матери, веселой, деловой и энергичной, тоже имевшей отношение к кадетской партии, старшей Лялиной сестры (позднее вышедшей замуж за журналиста В. Азова) и брата Сережи, застрелившегося в Берлине в конце двадцатых годов. Здесь бывали Милюков из Думы и Ходотов из Александринки, скрипачи Мариинского театра, видные адвокаты, актрисы, писатели. Но, конечно, я не видела их никогда, я только знала, что они бывают, и ходила по комнатам в священном трепете, воображая, как все это выглядит, когда зажжена великолепная люстра, и гремит рояль, и толпа гостей наполняет гостиную, столовую, кабинет и все остальные комнаты, где сейчас снуют помощники Ф.Н. Ляля была курчавая, маленькая, худенькая, ничего не понимала в стихах и не понимала, зачем я их пишу, но что-то связывало нас: любопытство к миру, интерес друг к другу. Она была на класс старше меня. Я очень скоро как-то потеряла ее, она, быть может, еще жива сейчас – последнее, что я знаю о ней, это то, что она жила в Казани, куда ее выслали. Не то Корделия, не то Антигона, она отдала свою жизнь отцу. Но тогда она была совсем не похожа на героиню трагедии.

Есть что-то преувеличенно-трогательное и искусственно-слащавое в воспоминаниях о школьном классе взрослых людей, но, когда я думаю о своих тогдашних подругах, я вижу перед собой не наивных маменькиных дочек, в изящных платьицах и с бантами на голове, но совершенно зрелые существа, с определившимися вкусами, с политическими убеждениями, умеющие судить, спорить, рассуждать, выбирать книги для чтения и себе подобных для общения. Время сыграло здесь свою роль: каждый год менял Россию и каждый день старил нас. И самой незрелой, как мне теперь кажется, была я сама, с моими “подпольными” чувствами, заумными радостями, с частичным знанием тайн жизни, в которые я была посвящена некой Мусей Р., сидевшей в каждом классе по два года и бывшей в то время чуть ли не на пять лет старше всех нас. Единственным моим преимуществом перед ними было писание стихов, но и оно скоро померкло, когда появилась в 4-м классе Наташа Шкловская, тоже писавшая стихи, и какие стихи! Но об этом я скажу позже. В одиннадцать лет все мы более или менее знали, чего хотели, и все хотели чего-то особенного. С двенадцати лет мы читали запрещенную литературу и рассуждали о преимуществах партии с.-д. перед партией с.-р. Мы все – нас было пять-шесть –

были связаны друг с другом и вечером договаривали по телефону недоговоренное днем, прося телефонную барышню соединить нас по три вместе (что было возможно), а по воскресеньям ходили друг к другу, читали вместе непонятные слова в словаре Граната и обо всем имели мнение, иногда общее и шумное, иногда свое собственное, секретное.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Решено (нем.). Здесь и далее примечания автора.

2

Отравляли (фр.).

3

Задохнувшиеся (фр.).

4

“Любовные мечты” (нем.).

5

На этой же улице, теперь Герцена, родился и Набоков, за два года и четыре месяца до этого.

6

“Благословляю!” (арм.)

7

Новая жизнь (итал.).

Купить: https://tellnovel.com/berberova_nina/kursiv-moy

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити